

НА ЛИНИИ ФРОНТА

ПРАВДА О ВОЙНЕ

Леонид Рабичев

ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ



**ВОСПОМИНАНИЯ
ОФИЦЕРА-СВЯЗИСТА 31-Й АРМИИ**

1941—1945

**НА ЛИНИИ ФРОНТА
ПРАВДА О ВОЙНЕ**

Леонид Рабичев

ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ

**ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-СВЯЗИСТА
31-Й АРМИИ**

1941—1945



**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦЕНТРОЛИГРАФ**

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622
P12



Серия «На линии фронта. Правда о войне»
выпускается с 2006 года

*Разработка серийного оформления
художника И.А. Озерова*

Рабичев Л.Н.
P12 **Война всё спишет. Воспоминания офицера-свя-
зиста 31-й армии. 1941—1945. — М.: ЗАО Изда-
тельство Центрполиграф, 2010. — 254 с. — (На линии
фронта. Правда о войне).**

ISBN 978-5-227-02355-1

Леонид Николаевич Рабичев — известный художник, прозаик, поэт, во время войны служил офицером-связистом в составе 31-й армии, действовавшей на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Воспоминания, письма Л.Н. Рабичева воссоздают эпизоды из жизни фронта и тыла, армейского быта давно прошедшего времени. Какую подготовку проходили офицерские кадры Красной армии, как они жили, любили, о чем мечтали, во что одевались и чем питались. Любая мелочь той эпохи становится необходимым звеном для понимания огромной цены, которой была оплачена наша победа. Юный лейтенант видел и сожженную, поруганную оккупантами Родину, и покоренную Германию. Он пропускал страдания людей сквозь свое горячее сердце. Это мужественная, горькая и местами шокирующая книга человека, прошедшего через самые страшные испытания, но не потерявшего способности верить, любить и созидать.

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-227-02355-1

© Рабичев Л.Н., 2010
© ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2010
© Художественное оформление
серии, ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2010

ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ

ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-СВЯЗИСТА

31-Й АРМИИ

1941—1945

ОТ АВТОРА

Спустя шестьдесят пять лет пишу то, что выплывает из памяти, не всегда и не обязательно последовательно, не все могу понять, ничего не могу оправдать, пишу о том, что попадало в поле моего зрения, отдельные страницы жизни, фронта и тыла 31-й армии, сражавшейся на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах, калейдоскоп нескольких аспектов жизни: исповедь, счастье, позор, покаяние, мемуары, дневники, документы, письма, иногда догадки, иногда прозрения. Страна, прошлое, будущее и все в себя вбирающая мысль, что все впереди!

Однако все не так просто. Вперед — назад. Поэзия, проза, живопись, книжная графика, дизайн. Перехожу от одного жанра к другому и чувствую, что не изменяю себе, что все это мое. Случайно ли я на последней границе жизни оформляю ветхозаветные и евангелические книги? Случайно ли, стремясь писать самые простые стихи, самые искренние прозаические озарения, сталкиваюсь с самыми сложными текстами книг бытия и капризами изменяющегося времени? Хочется обо всем сказать просто, не элементарно просто, а просто мудро, просто универсально, так, чтобы неповторимо. Восемьдесят шесть лет. Каждая секунда дорога. Открываются новые горизонты, жизнь с каждым днем расширяется, все впереди! И если суждено остановиться, то нику-

да уже не денется возникшее чувство удовлетворения. Ни дня без строчки, ни дня без красок. Четыре года войны. Жил, любил, работал, помогал, кому мог. Пятнадцать книг стихов, воспоминания о детстве, о войне, биографии художников, композиторов, поэтов, друзей. Война и мир. Размышления об искусстве, любви, жизни и смерти, о стремительно бегущем времени и непреодолимая уверенность, что все впереди!

Все впереди!

Веерообразно расходятся дни и годы жизни, и только одно остается неизменным — все впереди!

Буду двигаться вперед — и снова и снова возвращаться назад. Иначе пока не получается, пока новые стихи, чтобы на восемьдесят шестом году жизни не забыть их, сначала стихи, а потом — все впереди!

Глава 1

МОСКВА—БЫКОВО. НАЧАЛО ВОЙНЫ

В начале июня 1941 года я сдал последние экзамены и перешел на второй курс юридического института. Отметки по дисциплинам, кроме теории государства и права и латинского языка, у меня были неважные. Я понимал уже ясно, что юриспруденцией заниматься не буду, и привлекали меня в институте только самый внезапный роман с девочкой, имя которой я забыл, и заседания литературного кружка, руководил которым Осип Максимович Брик. Видимо, я уже не сомневался, что буду писать до конца жизни. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее.

22-го, утром, проезжая на велосипеде мимо одной из соседних дач, я услышал фрагмент из речи Молотова и через пять минут уже был дома. Родители, брат, гости пытались понять, что будет. Все были уверены, что война больше трех недель не протянется и что капитуляция фашистской Германии неизбежна.

С утра до вечера слушали сводки Информбюро и все более и более удивлялись неожиданному и пугающему развитию событий. В июле немцы начали бомбить Москву.

Днем мы сидели у репродукторов.

Вечером, после первой бомбежки, у входа на Казанский вокзал возникла пробка. Задние нажимали, перед-

ним некуда было податься, кто-то кричал, что женщину задавили.

Платформы пригородных станций были набиты людьми с узлами и чемоданами. Москвичи выходили на пристанционные площади, расходились кто куда. Один из них остановился около нашего забора.

— Разрешите переночевать на вашем участке? У меня жена, двое детей.

— Заходите. Что происходит в Москве?

— Красная Пресня полностью уничтожена, бомбят Арбат, говорят. Немцы уже Смоленск взяли.

А на станции мальчишки окружили старуху в синем клетчатом платке и заграничном пальто. Старуха говорила, что она из Киева приехала к дочери, но мальчишки не верили ей.

— Тащи ее в участок, там разберутся, — уговаривал товарищей рассудительный двенадцатилетний мальчик.

Но другой мальчик в коротких штанишках размахивал большой березовой палкой и очень волновался:

— Это только на вид она женщина, а на самом деле — мужчина! У, ты, — погрозил он, — замаскировался!

После двенадцати часов ночи над нами начинали кружить немецкие бомбардировщики. Где-то за Люберцами, а может быть, вдоль всей окружной дороги наши зенитчики организовывали заслоны. Трассирующие пулеметные очереди образовывали сплошные световые узоры, в воздухе разрывались снаряды. Самолеты заворачивали и опять оказывались над нами.

Часа два тянулась эта канитель, и вдруг в воздухе над нами завис светящийся шар.

Никто не знал, что это такое, с каждой минутой шар увеличивался и спускался прямо на нас.

На Октябрьской улице на ковриках и одеялах ночевали москвичи. Все они проснулись и, как зачарованные, с ужасом смотрели на небо. Думали, что это боль-

шая бомба замедленного действия или какое-то еще более коварное немецкое оружие, и каждому казалось, что спускается оно именно на него.

И стоило одному человеку побежать, как все, вся улица, сорвавшись со своих мест, побежала. Но шар тоже не стоял на месте. Бежали обратно, и он тоже двигался обратно и становился все огромнее и все страшнее.

Я бежал в сторону кино.

Незнакомая девочка протянула мне руку.

От усталости и ужаса мы свалились в кювет около кинотеатра. Девочка прижалась ко мне, и я поцеловал ее, она плакала и целовала меня, и мое сердце билось уже не от страха, а от ее близости. А шар все увеличивался и был уже совсем над нами и, как прожектор, освещал и слепил нас. И вдруг его не стало.

Мы поднялись — мокрые, грязные, потрясенные.

Я проводил девочку до школы. Она последний раз поцеловала меня. Больше никогда я ее не встречал. А шар — это ерунда. Это была осветительная ракета, фонарь. Но узнали мы это только на следующий день.

В августе немецкие самолеты каждую ночь бомбили Быково. Мы выкопали квадратную яму два на два метра и глубиной метра полтора. На дно положили ковер. На ковер поставили шесть стульев. Сидели на стульях, прижавшись друг к другу, и напряженно смотрели на небо.

Один за другим пролетали над нами немецкие самолеты. Приблизительно через четыре минуты в районе Люберец образовывалась сплошная стена огня, тысячи трассирующих зеленых и оранжевых пулеметных очередей, сотни осветительных ракет, сотни прожекторов. Их лучи, пересекая все видимое пространство, двигались во всех направлениях, и если в луч одного из прожекторов попадал немецкий самолет, то ему не суждено уже было уцелеть, потому что еще десятка два прожекторов ослепляли и освещали его, и в ярком све-

товом пространстве разрывались сотни зенитных снарядов. Самолет загорался и падал, а в поле прожекторов оказывался летчик на парашюте. Все это видели не только мы, но и немецкие летчики. Они стремительно разворачивались, снова появлялись над нами и снова летели на Москву. И снова огненная стена пугала их.

Десятки кругов, небо над нами гудело, от нас — к нам, а мы на стульях, и страшно, и уже шея болит, а все равно смотрели на небо.

Между тем приближалось утро, небо начинало светлеть, и вся не прорвавшаяся к Москве армада сбрасывала предназначенные для москвичей бомбы и зажигалки на Быково и улетала в Германию.

Мы выскакиваем из ямы. На Октябрьской улице горят два дома. Пять зажигательных бомб упали рядом с нами, в расположенный между сараем и нашей дачей малинник.

Малина горит. Папа засыпает зажигалки песком.

Я накачиваю водой ведра и гашу огонь, подбирающийся к крыльцу дачи. Мой дядя был тяжело болен: инфекционный полиартрит искривил и сковал на много лет его ноги и руки, он с трудом ходил по комнате. Но произошло чудо.

Объятый ужасом, он перепрыгнул через забор, оказался на улице и никак не мог понять, где находится, где наша калитка и где наша дача.

Москва. Сентябрь—октябрь 1941 года

1 сентября 1941 года мы переехали из Быкова в Москву. Немцы продолжали бомбить город. Вместо быковской ямы, теперь я каждую ночь дежурил на крыше своего дома.

На Покровском бульваре, напротив дома, между деревьев и скамеечек, расположилась зенитная батарея, а на углу крыши дома были оборудованы зенитчиками

две счетверенные пулеметные установки. На бульваре, в некотором отдалении от зенитчиков, далее через каждые 100—150 метров, стояли лебедки, при помощи которых днем стальными канатами притягивались к земле, а ночью отпускались и поднимались на большую высоту похожие на китов или бегемотов заградительные аэростаты.

В бывшей комнате техника-смотрителя, на первом этаже, у телефона по очереди дежурили мои сверстники — студенты и студентки, — ждали указаний из штаба обороны района. И когда сквозь кольцо зенитной обороны города прорывались немецкие бомбардировщики, по сигналу «Тревога!», под завывание сирен, гудков заводов, пожарных машин мы, согласно указаниям дежурных, бегали по всем этажам, звонили во все квартиры дома, будили жильцов и следили, чтобы они вовремя спустились в глубокий подвал дома, оборудованный под бомбоубежище. После этого поднимались на чердак, где у каждого было свое место перед чердачным окошком, через которое мы легко вылезали на крышу нашего дома.

Это одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. На горизонте, видимо, появлялся вражеский самолет. Сотни прожекторов, сотни разноцветных трассирующих пулеметных очередей, разрывающихся снарядов сосредотачивается на пространстве, в котором предположительно он находится.

Вся эта масса огненного неба медленно, со все возрастающим грохотом, надвигается на нас.

И все это было ничего, пока не начинали стрелять расположенные под нами на бульваре зенитные батареи и одновременно на углу нашего дома счетверенные пулеметные установки.

Глаза невозможно оторвать от ослепительного неба, уши глохнут, какая-то пронизывающая боль в ушах. Железная крыша нашего семиэтажного дома содрогается, и я начинаю медленно сползать по ней, ложусь

на спину и судорожно вцепляюсь руками в ребра между листами железной кровли, а грохот все усиливается. Вся крыша усеяна падающими с неба пулями и мелкими осколками снарядов.

И кульминация.

На крышу падает несколько зажигалок.

Тут чувство долга берет верх. Я вскакиваю на ноги и заранее приготовленной лопатой засыпаю огненные шары песком из ящика. Я не один, нас на крыше человек двенадцать, и за несколько минут нам удастся погасить все зажигалки. Страх навсегда забывается.

Грязные, поцарапанные, собираемся мы на чердаке и смеемся. И каждому хочется рассказать, как, ничего не боясь, именно он погасил самую опасную, то есть загоревшуюся на самом краю крыши или не замеченную сначала и уже накалившую пространство вокруг себя, зажигалку.

В шесть часов утра, после отбоя, я спускался с чердака, заходил в свою квартиру, заводил будильник и мгновенно засыпал. Через три часа начинались лекции в юридическом институте.

Так продолжалось десять дней.

Я устал, спал на лекциях в своем Московском юридическом институте, понял, что учеба с ежедневными дежурствами на крыше несовместима.

Вечером в диспетчерской дежурила милая девочка, которую я знал ребенком — дочь сослуживца и друга моей мамы Нина Репина. 7 сентября мы с ней на чердаке сидели у одного окна, потом выскочили на крышу, погасили несколько зажигалок. Уставшие, вернулись на чердак, посмотрели друг другу в глаза. Она улыбалась. Я обнял ее, она прижалась ко мне, и до отбоя мы целовались.

Я объяснил Нине ситуацию с институтом и дежурствами на крыше. Написал заявление. Мне разрешили дежурить через день. После этого до 16 октября я одну ночь дежурил на чердаке, а следующую отсыпался в сво-

ей квартире. Кто-то звонил, предлагал спуститься в бомбоубежище, но я не откликнулся. При встрече со мной Нина отворачивалась.

С 1 по 15 сентября студентов всех курсов юридического института направили на работы в Северный товарный порт на Москве-реке, а из членов литературного кружка создали бригаду по выпуску боевых листовок и плакатов типа «Окон РОСТА». Работали мы круглые сутки в две смены. Я писал стихи к плакатам и тексты для боевых листовок, интервьюировал студентов, занятых на погрузке, и впервые в жизни оформлял боевые листки как художник. Агитстихов своих не помню, но помню, что они нравились моим товарищам, и помню состояние общего восторга — мы были востребованы коллективом. Видимо, то, что у нас получалось, не носило формального характера, а вызывало всеобщий интерес.

16 сентября неожиданно для нас первая лекция проходила в помещении Малого зала консерватории. Я не знал, что помещение института соединялось коридором с консерваторией.

Удивление неизмеримо возросло, когда на сцене в сопровождении двух вооруженных автоматами гэбэшников появился бывший генеральный прокурор, первый заместитель министра иностранных дел Молотова — Вышинский.

Директор института представил нам Великого прокурора и объяснил, что два раза в неделю по два часа он будет читать нам курс истории дипломатии. Сто рук взлетело в воздух.

— Что происходит на фронтах? Почему наши так стремительно отступают? Что будет?

— Неужели вы в самом деле оказались в плену вражеской пропаганды? — усмехаясь, говорил заместитель наркома. — Неужели вам не понятно, что наши маршалы заманивают армии рейха в ловушку? Да, действитель-

но, мы подпустили их к Минску, но не пройдет и двух дней, как они побегут, и остановки уже не будет. Считайте, что мы уже одержали победу!

Весь зал встает, горящие глаза, бурные аплодисменты.

А через неделю:

— Неужели вы в самом деле...

Но речь уже шла о Смоленске, и уже всем было ясно, что Великий прокурор врет.

Последнее занятие происходило 15 октября.

Глава 2

ЭВАКУАЦИЯ

16 октября 1941 года

Утром еду в свой институт.

Первые два часа по расписанию — лекции прокурора Вышинского. Но оказывается, все лекции отменены.

Кто-то объявляет, что вечером институт в полном составе будет эвакуирован из Москвы в Алма-Ату, и поэтому надо получить открепление в военкомате. Что все уже забронированы и после ускоренного окончания института будут направлены на фронт. (В трибунал? В Смерш?)

Я озадачен, но занимаю очередь в военкомат. Смотрю — в коридоре В. С., обнимаемся. Вдруг он говорит мне, что решил во что бы это ни стало остаться в Москве и с этой целью для поступления куда-то получает в военкомате справку. Поступает он не то в институт, не то на какую-то предоставляющую бронирование работу. А если немцы захватят Москву? Говорит, что это его не пугает, уверен, что хуже не будет. Очередь длинная, только в четыре часа вечера получаю открепление.

Значит, эвакуация в Алма-Ату? Звоню из военкомата домой, и вдруг мама не выдерживает и плачет. Куда ты пропал? Я уже третий час пытаюсь тебя найти. Папа волнуется, его наркомат нефтяной промышленности вечером эвакуируется в Уфу.

— Витя, — говорит она (Витя — это мой старший брат), — в бронетанковом училище в Магнитогорске. Ты через несколько дней уйдешь в армию, а до Уфы без твоей помощи нам не доехать.

Думаю три минуты.

Военюристом быть не хочу, ради брони — тем более.

По прибытии в Уфу подам заявление о добровольном призыве в армию.

Дома мама укладывает в чемоданы все, что может понадобиться для жизни, приблизительно на полгода. Да, все мы тогда были уверены, что больше чем полгода война не протянется. Но Уфа? Это север? Не то Урал, не то Сибирь? Предстоит холодная зима? Значит, все шерстяное и меховое: шубы, шапки, одежда, ботинки, галоши, валенки. А на чем спать?

Наполняем необходимыми вещами чемоданы, скручиваем узлы и тюки: три матраца, три ватных одеяла, три подушки, простыни, наволочки, отдельно — посуда, кастрюли, сковородки, тазы. А книги? Чемодан с книгами. Думали, что живем бедно, оказывается, всего так много. А продукты? Сахар, мука, крупы, хлеб. Вещей в два раза больше, чем при переезде на дачу. Там всегда заказывали грузовик, а тут — как это перенести на себе?

Я пытаюсь поднять то один, то другой узел и вижу, что мне это не под силу, и начинаю развязывать тюки, выбрасывать из чемоданов половину вещей. Мы спорим, ругаемся, но сколько ни выбрасываем — все равно не поднять.

В восемь часов вечера приехал папа, попробовал поднять два-три чемодана и сказал, что это слишком тяжело. Снова все распаковали.

Безжалостно расставались с тем, что непосредственно не было необходимым, снова все перевязали и, наконец, в девять вечера решили, что больше нет ни минуты. Папа под расписку сдал дежурному по дому ключи от квартиры и отметился в специальной книге отъезжающих. Квартира наша была забронирована за нами, о

чем у нас были документы, в книгу вписывались номера и даты этих документов.

Мама стояла около вещей. Мы по одному перетаскивали чемодан метров на двадцать и возвращались за следующим. Вещи надо было дотащить до трамвайной остановки у Покровских ворот. Оттуда один из номеров трамвая шел по Покровке до Разгуляя и Елоховской церкви, там заворачивал и подходил до моста окружной железной дороги, как раз напротив Казанского вокзала. Но уже напротив Милютинского садика, обливаясь потом и растрачивая последние силы, мы поняли, что до Покровских ворот эту жуткую гору узлов и чемоданов нам не дотащить. Решили сократить количество вещей вдвое.

Мама осталась у Милютинского садика с вещами, а мы по одному чемодану или узлу потащили назад домой.

В этот вечер Москва обезлюдела. Эвакуировалось несколько десятков тысяч человек, а четыре с половиной миллиона оставалось дома.

Москва 1941 года. Два трамвайных кольца, паутина улиц и переулков с причудливыми названиями. Гордость города — недавно построенная гостиница «Москва». От Сокольников до Парка культуры имени Максима Горького — первая линия метро. На открытие этой линии папе выдали на работе пропуска, и мы всей семьей первый раз в жизни спускались по эскалатору, с восторгом рассматривая мраморные дворцы-станции. А потом Тверская улица от нынешней Манежной до площади Пушкина. Последний новый дом со скульптурой на куполе крыши как раз напротив памятника Пушкину.

Это была Великая стройка века.

Большинство старых домов, в том числе малоэтажных особняков, бывших дворцов и магазинов, разрушали и сносили. Три дома, представлявшие, по мнению Сталина, историческую ценность, передвинули метров на пятьдесят, и они оказались во дворах. Двигали их по

рельсам, на больших бревнах, приблизительно как мы в Быкове каждый год передвигали с террасы на участок наш тяжелый пинг-понговый стол.

Вся Москва ходила смотреть на это чудо, когда подъемными кранами переносились и подкладывались под фундаментыдвигающихся домов бревна и когда рабочие, при помощи нескольких сотен лебедок и железных тросов, день и ночь тащили эти дома на новое место.

Наконец, критическая масса нашего имущества уменьшилась до возможной. Теперь уже вдвоем с папой мы могли поднять и перетащить метров на тридцать любую вещь, и дело сдвинулось с мертвой точки.

С черепашей скоростью, но теперь уже без остановок, мы двинулись к Покровским воротам, и тут произошло чудо.

По пустынному Покровскому бульвару мимо нас проходила веселая студенческая компания, и одна из девушек сказала:

— А ну-ка, бездельники, поможем этим уставшим интеллигентам — кто берет чемоданы?

Они плюс мы, все вещи в воздухе, через десять минут мы оказываемся на трамвайной остановке. И тут опять нам везет: к остановке подходит пустой трамвай, и ребята за одну минуту втаскивают в него наши вещи. Мы не знаем, как благодарить их, а они смеются и машут нам на прощание руками.

Мы едем по Покровке и из окна трамвайного вагона видим, как группы обезумевших москвичей разбивают витрины магазинов и растаскивают что попало по своим квартирам.

У Разгуляя пьяный мужик садится в трамвай, с презрением смотрит на нас.

— Убегайте, — говорит, — как крысы с тонущего корабля, — и матом, и ну-ну, по второму, по третьему заходу, но трамвай наш уже на площади Казанского вокзала.

Вагоновожатый и кондуктор терпеливо ждут, когда мы сгрузимся. Сгрузились! Все! Я с мамой остаюсь око-

ло вещей, а папа бежит к Казанскому вокзалу искать в условленном месте свой наркомат нефтяной промышленности.

Но на условленном месте никого нет.

Площадь перед вокзалом и сам вокзал битком набит эвакуирующимися москвичами. Все они разобщены, не могут найти друг друга, все работают локтями, головой, ногами и кричат:

— Коля! Нина! Где дети? Отдел планирования! Поликлиника! Где же наркомат тяжелой промышленности? Иванов! Сидоров! Папа! Петенька! Я тут! У меня чемодан украли!

Отдельные крики сливаются в один сплошной гул.

Пахнет потом, мочой, калом, кровью. Каждый метр пути с боем, а куда пробиваться — никто не знает.

Сквозь эту жуткую толпу папа пробивается на перрон вокзала, где на каждой платформе стоят по несколько совершенно одинаковых пригородных электричек. На платформах обезумевшие, нагруженные вещами люди, но у каждой двери вооруженные солдаты. Папа мечется между поездами и пассажирами и вдруг видит своего сослуживца, и тот ему показывает на электричку наркомата нефтяной промышленности, два вагона.

Время 23.00, в 23.30 наш поезд должен отойти.

Папа прорывается через ту же толпу в обратном направлении, с трудом находит нас, и мама остается у вещей, а мы с ним вдвоем по одной вещи, по одному чемодану и тюку, опять и опять, несколько раз туда и обратно преодолеваем весь этот путь.

Время 24.00.

Мы в вагоне, нам предоставлено одно купе электрички — два трехместных сиденья и дыра между ними.

Сначала запихиваем чемоданы под полки, еду кладем наверх, на сетку, мягкими тюками заваливаем пространство между сиденьями.

Минут десять приходим в себя. Потом мама решает пересчитать вещи, не потерялось ли что, и вдруг обна-

руживает, что нет как раз главного чемодана со всеми нашими шерстяными и меховыми зимними вещами и зимней обувью.

Это катастрофа.

Папа пытается узнать, когда отправится наша электричка. Ему говорят, что дорога загружена, что отправится не ранее чем через час. И он оставляет нас и отправляется назад, домой, за этим чемоданом, который мы случайно отнесли вместе с лишними вещами, когда стояли напротив Милютинского сада.

Время 0.30. Мы сидим в купе и волнуемся. Два часа ночи, а папы нет.

Два тридцать!

Три часа.

Папа появляется в полчетвертого, в руках чемодан.

Кто-то говорит, что мы стоим потому, что немецкие самолеты разбомбили в районе Раменского несколько железнодорожных составов и железнодорожные пути. Мы сидим в своем вагоне и ждем, когда бомбы начнут падать и на нас. Все места в вагоне заняты, двери заперты, туалет заперт, все волнуются, терпят и молчат. Неожиданно слух, что немцы перерезали дорогу, а с другой стороны уже заняли Москву. Неприятно посасывает под сердцем, хочется есть, спать, в уборную.

В шесть утра к нашей электричке подцепляется паровоз и мы трогаемся с места, минут через десять открывается туалет, через полчаса мы едим и, не раздеваясь, не вдоль, а поперек купе ложимся на свои нераспакованные тюки и засыпаем.

Просыпаемся днем.

Поезд медленно движется на восток. Проехали Бронницы. Впереди много дней дороги. Мы развязываем тюки, извлекаем постельные принадлежности, смываем с себя в туалете пот и грязь. Поперек купе расстелены

три матраца, три простыни, три одеяла. Постукивают и поскрипывают полки.

День за днем мы едем лежа, сидя, смотрим в окна. Постепенно и параллельно у всех нас, у всех наших соседей — а это работники наркомата и члены Коминтерна, вожди компартий всех стран и народов мира — возникает мысль: какая большая страна! Города, села, леса и поля, дали и реки, холмы, дни, ночи, без конца и края! Не победят нас фашисты! Все еще впереди!

У коминтерновцев приемники. Немцы в Москву не вошли, Москву не окружили, войска их остановлены. Фашисты нас не победят.

И смотрим, как без конца и без края мимо нас на запад двигаются составы с военной техникой, танки, самоходки, пушки, дивизия за дивизией. Это с Дальнего Востока перебрасываются корпуса и армии, чтобы остановить и отбросить назад гитлеровские войска, а впереди — города, реки, леса, поля, тысячи километров нашей земли.

На восьмой день пути лидер венгерских коммунистов Ракоши стоп-краном останавливает наш состав. Оказывается, мы уже проехали Уфу, а машинист почему-то не остановил. Часов шесть идут переговоры. Наконец на ближайшей железнодорожной станции наш паровоз, маневрируя, перемещается в хвост состава и тащит нас назад в Уфу. Вот мы и на месте.

Выгружаемся. Нас встречают папины сослуживцы, помогают выносить вещи на платформу. Уфимский вокзал. На площади два грузовика и автобус. Вещи на грузовиках, мы в автобусе. Перед нами здание бывшего Уфимского оперного театра.

Уфа

Теперь это наш дом, каждой семье здесь, для временного проживания, выделено по четыре квадратных метра. Это как раз четыре метра наших узлов и чемоданов,

а спим мы на них. Вытащили одеяла, подушки и шубы, спим на одеялах, укрываемся шубами и полметра паркета вокруг — проходы.

По-прежнему рядом с нами семьи папиных сослуживцев и коминтерновцы. Слева от нас немецкий писатель, коммунист Юлиус Гай, справа — председатель венгерской компартии Ракоши, других не помню.

Утром нарком нефтяной промышленности срочно вызывает папу в Москву, и мы остаемся вдвоем, я и мама — в Уфе, мой старший брат Виктор — в Магнитогорске, в бронетанковом училище, папа после недельной работы в Москве направляется в длительную командировку по стране. Цель командировки — решить судьбу нефтепромыслов.

Итак, Уфа.

Выхожу на улицу, и сразу же знакомое лицо — девочка Валя. Я в одной группе с ней и Виталием Рубиным в 1940 году экстерном сдавал экзамены за десять классов. Еще сто шагов — и парень из моей группы, из юридического института. С институтом он в Алма-Ату не поехал, а еще раньше эвакуировался с семьей в Уфу. С восторгом рассказывает о своих спекулятивных операциях.

По деревням вокруг Уфы по дешевке он скупает и меняет на вещи картошку и по десятикратной цене продает эвакуированным москвичам и киевлянам. Приглашает меня к сотрудничеству. Еле отделался от него.

Иду по улице. Библиотека работает. О господи! Значит, жизнь не остановилась. Вхожу в зал и вижу склонившегося над стопкой журналов и книг Леву Сиротенко.

Он был другом Юры Бессмертного, вместе мы занимались в кружке античной истории Дома пионеров. Сидит и читает не то Геродота, не то Аристофана. Увидел меня, вскочил, и я тоже, — это ведь уже одна из лучших страниц моей московской жизни. Лева ведет меня к себе. Его семья занимает комнату на ближайшей улице. Подходим к двери — у дверей лежит огромная мертвая серая крыса.

Дверь открывает Мадонна Сикстинская — это Наташа, родная сестра Левы. Боже, какая красивая, только что вышла замуж за артиста Петрейкова — чтец, вроде Яхонтова.

Пытаются усадить меня за стол, но я еще не видел города. Прощаюсь, иду по улице, и вдруг — моя одноклассница Галя Грибанова, милая дорогая Галя!

Прежде я никогда не был в нее влюблен, но она всегда мне нравилась: широкое лицо, чуть раскосые улыбающиеся глаза. Мы целуемся и с этого дня почти каждый вечер встречаемся. Я захожу в ее захламленное жилище — там большая семья. Мы бродим, прижавшись друг к другу, по темным улицам, вспоминаем Москву, иногда целуемся, и мне невероятно хорошо.

Вечером мы с мамой находим мою киевскую родную тетю Веру, и моего двоюродного брата Мишу, и сестру Раю. Они «старожилы» — в Уфе уже месяц. Миша — мой ровесник, окончил десять классов.

Эвакуация из Киева. Застолье. Говорим, говорим.

Возвращаемся в оперный театр часов в двенадцать ночи, а там уже, как на шахматной доске, половина ячеек освободилась. Оказывается, идет расселение по квартирам города и мне с мамой, вместе с незнакомой нам семьей папиного сослуживца, выделяется одна комната — восемнадцать метров.

Мы ставим фанерную перегородку — и у нас своя девятиметровая комната.

Наш адрес: улица Ленина, дом 7, подъезд 5, комната 183.

Это какое-то бывшее административное здание, коридорная система, комнаты, кабинеты, мебели почти никакой. Нам достается один письменный стол, спим на полу, на все квартиры в конце коридора — один загаженный туалет. И все-таки, оглядываясь вокруг и назад, это замечательно, мы устроены, жизнь продолжается.

Днем я встретился слевой Сиротенко в библиотеке, выписал книгу античного историка Светония. Диктатура Суллы.

Читаю, и постепенно возникает впечатление полного сходства с событиями четырехлетней давности. Аресты, пытки, проскрипции, доносящий получает часть имущества гибнущего, и никто не знает, почему гибнут древнеримские интеллигенты по доносам бывших друзей, а то и детей (эдакие римские павлики морозовы).

А вечером мой двоюродный брат Миша знакомит меня с мальчиками и девочками своего бывшего киевского класса.

Под ногами тающий снег, слякоть. Три переулка. В передней темно, раздеваемся и заходим. Три девочки и один мальчик. Горит одна свеча. Девочки: Эдда, Стелла, Алла. Мальчик на год младше меня — Володя Палйчук.

Он читает стихи, кажется, подражает Маяковскому, но — термины, числа. Это он решил воспроизвести в виде поэмы первый том «Капитала» Маркса.

Профессионально владеет формой, читает наизусть, с увлечением, глаза горят, артикуляция. Кончает читать. Алла — это его жена, они одноклассники, в семнадцать лет поженились (вызов, реакция родителей, педагогов школы). Алла начинает импровизировать — это не то психологический роман, не то детектив, и не начало, а продолжение. Она останавливается, продолжает Эдда. Стелла заходит в тупик, коллективно находится выход: острый сюжет с бесконечными вариантами продолжений. Миша включается в игру-работу, за ним Володя.

Так, вечер за вечером, со смехом и слезами — одна свеча сгорает, ставят следующую.

Все расходятся.

Володя просит меня задержаться. Миша говорил ему о моих стихах. Я читаю ему свои дурацкие, прошлогодние, еще времени кружка Осипа Максимовича Брика,

стихи, которые даже мне самому не совсем понятны. Это звуко- и словотворчество.

Неожиданно мы становимся друзьями.

У него уже биография.

В городе Станиславе учился на втором курсе филологического факультета, написал в шестнадцать лет работу, представленную на соискание кандидатской степени.

Был избран секретарем комсомольской организации института. Возглавил студенческий отряд добровольцев. Им выдали оружие, и они с боями, выходя из окружения, прорвались к своим, но он был контужен и из госпиталя в Киеве эвакуировался вместе с женой Аллой в Уфу.

Он предлагает мне совместно написать книгу о поэтике. Мы в библиотеке выписываем теоретические работы Андрея Белого. Что-то у нас начинает получаться: две-три своих мысли. Но я уже встал на учет в военкомате и подал заявление о желании идти на войну. Он сделал это раньше меня. Мы торопимся, в нашем распоряжении только двадцать дней.

Первым забирают Володю. Его направляют в специальное парашютно-десантное училище, которое готовит разведчиков.

Он на прощание как бы завещает мне совместно с Аллой закончить наш литературоведческий труд. Я с Аллой сижу то в библиотеке, то у нее. Каждый день вырываюсь часа на полтора к Гале Грибановой.

Неожиданно на два дня к нам приезжает папин студенческий товарищ Александр Абрамович Закошанский. В Гражданскую войну он командовал дивизией. Его призвали в армию и присвоили довольно высокое офицерское звание, но он заболел, ему в госпитале, в Уфе, сделали операцию.

Однажды пришел друг моего брата Сергей Захаров. Он, как и Виктор, старше меня на шесть лет, но теперь нас жизнь как бы выравнивает. Он приглашает меня в какую-то компанию, где много женщин, но не хватает

мужчин. Мы пешком, по грязным переулкам добираемся до окраины города.

В доме танцы, девочки. У него знакомая, с которой он исчезает. Я остаюсь с девчонкой, танцую с ней, обнимаю ее, а она начинает плакать. Мы оба никуда не годимся, не знаем, что делать дальше. Выходим на улицу, прижимаемся друг к другу, как будто у нас вечность в запасе, не замечаем времени.

Тут появляется Сергей. Он уже добился всего, чего хотел, двенадцать часов ночи, мы прощаемся, едем домой. Он спрашивает у меня довольно цинично и смеется надо мной, ему смешно, что я не проявил инициативы. А мне стыдно и за себя, и за эту девочку, и перед Галей Грибановой, которая ждала меня.

А на следующий день я получаю повестку в военкомат.

П И С Ь М А

14 декабря 1941 года

«Дорогой Витя! Сейчас проводил в армию моего товарища Володю Палийчука. Он уехал добровольцем в десантные войска. Это замечательно умный парень, замечательный ученый, очень красивый человек. Последнее время я очень много занимаюсь. Вместе с Володей мы разрабатывали новую теорию поэзии. Я хочу эту работу непременно закончить до ухода в армию, то есть написать статью. Пока эта работа не дописана, я стихами не занимаюсь и потому не могу прислать тебе ни одного своего стихотворения.

В Уфе у меня много знакомых. Я встретил двух девочек из своего класса, девушку из экстерната, трех студентов своего курса. Мой институт находится в Алма-Ате и думает к маю возобновить занятия в Москве.

Самого меня зачислили в летную школу, потому что всех призывающихся берут в авиацию. Но я не думаю, что пройду медкомиссию... Возможно, я попаду в авиатехническое училище. Мама закупает картошку на зиму. Как

только начнут принимать, pošлю тебе посылку: махорку, иголки, нитки, витамин С — сладкую, густую и полезную массу, которая в Уфе в ходу. Привет, Лень».

15 декабря 1941 года, понедельник (от папы)

«Дорогой Витенька! С 28 ноября нахожусь в командировке. Сейчас еду по направлению к Ташкенту, а затем в Красноводск, Баку. Вернусь к 1 февраля».

Мой тайм-аут закончен.

Мама собирает вещи, я бегу к Гале, она стремительно одевается, идет со мной и мамой в военкомат.

На прощание мы целуемся, что-то обещаем друг другу, мама отходит в сторону, Галя вынимает из сумки и дарит мне четыре толстые общие тетради в линейку и в клетку на очень хорошей мелованной бумаге, плачет.

Мама тоже плачет. Вообще слишком много слез.

Нас, человек сорок призывников, строем уводят в казарму, забирают наши паспорта. На дворе казармы несколько повозок, телег с лошадьми и кучерами. Это не солдаты, а мобилизованные деревенские мужики. Свои рюкзаки мы складываем на телеги и по команде выходим из ворот. Несколько улиц, кончается город, начинается полужасыпанная снегом проселочная дорога.

Небольшой мороз. Я знакомлюсь с ребятами. Виктор Вольпин — москвич, кончил десять классов. Сиротинский, Гудзинский и Заполь — студенты. Робкий Саша Захаров, наглый одессит Ховайло, татарчонок Яхин, москвич Гурьянов, будущий мой друг Олег Корнев.

Забыл, забыл имена, фамилии, но ничего, может быть, пока буду писать, вспомню.

Впереди город Бирск, до которого мы должны пройти пешком 115 километров. В каких-то деревнях останавливаемся, пьем кипяток, закусываем тем, что взяли

из дома. Всем родители надавали очень много вкусной еды.

Ребята угощают друг друга, но дорога бесконечная. Ночуем в деревне, потом опять идем. Ветер, перемешанный с пылью. Опять деревня. Утром следующего дня сильный порыв ветра. Мне в глаз залетает соринка. Пытаюсь вытащить, помогают ребята, но ничего не получается, глаз щемит и слезится. На третий день вечером приходим в город Бирск. Красные казармы, река Белая. Нас направляют в карантин.

Пофилософствую.

За двадцать дней я как бы пережил несколько жизней, приобрел до конца своих дней друга Леву Сиротенко и до конца их жизни Володю и Аллу Палийчуков. Когда Володя попал на фронт разведчиком, Алла преодолела миллион препятствий, добилась направления в его часть медсестрой и в первом же бою погибла, а Володя окончил войну, был награжден несколькими орденами и нелепо погиб под колесами встречной машины, голосуя на шоссе. Володя и Алла погибли. А почему, как тень, через всю мою жизнь прошла Галя Грибанова? А что это за труд был в библиотеке? Но ведь написал я какую-то крошечную часть того, что было задумано. Пять лет я переписывался с Эддой. А что за это время происходило с близкими мне людьми?

Папа.

Группе, в которую он входил, предоставлено было право решать участь северокавказских нефтяных промыслов. Взрывать или не взрывать? Где бурить новые скважины? Потом командировка на Урал. С ноября 1942 года он работал в Москве, был награжден орденом «Знак почета» и медалью «За трудовую доблесть».

Мама.

В 1942 году работает в Уфе директором парка гужевого транспорта.

Виктор.

Четвертый месяц курсант бронетанкового училища в Магнитогорске.

Почему? Как он туда попал?

Вите двадцать три года. В институте он трижды проваливался на экзаменах по политэкономии и диамату, на первом курсе Станкина он не может сдать экзамены по немецкому языку, не запоминает дат партийных съездов. Зато по высшей математике у него пять, по черчению — пять, по физике и по сопромату — пять, по всем специальным предметам, связанным с техническим мышлением, у него блестящие результаты.

Три практики на заводе, три изобретения, три патента — он мгновенно находил пороки и пути усовершенствования измерительных приборов, переделывал бытовые приборы, чинил часы, придумывал новые схемы радиоприемников, усовершенствовал свой велосипед и был самым первым велосипедистом в Быкове.

На площади перед быковским кинотеатром он на велосипеде выделял цирковые номера.

Забыл сказать, что велосипед в Быкове был только у него. Ему было четырнадцать лет, когда папа купил ему один из первых образцов первой серии советских велосипедов. Тогда милиция требовала, чтобы на велосипедах, как теперь на автомобилях, были сзади и спереди номера, так вот у него был московский № 0003.

Все девочки были в него влюблены. Он пел все арии из всех опер, весь репертуар Лещенко, Козина, Вертинского, был страстным поклонником джаза Цфасмана. У нас был один из первых советских патефонов. Он усовершенствовал мембрану, тратил почти все заработанные деньги на пластинки Карузо и наших оперных певцов: Лемешева, Рейзена, Козловского, Обуховой. Одним словом, он был очень музыкален. В институте его выбрали председателем студенческого клуба выходного дня, и он организовывал одни из самых интересных в Москве концерты.

Вадим Козин и его аккомпаниатор Ашкенази несколько раз приезжали к нам на Покровский бульвар. Он затаскивал меня почти на все концерты в свой Станкин.

В первых числах июля 1941 года он должен был защищать диплом. В институте было военное дело.

Через месяц он, как и все парни его курса, должен был стать военинженером. При эвакуации заводов на восток все они были бы востребованы.

Но в конце июля 1941 года, на тридцатый день войны, состоялось комсомольское собрание студентов института. И что же делать — все мы тогда голосовали только единогласно...

Выездной инструктор райкома комсомола на общем собрании выразил мнение, что все настоящие патриоты — комсомольцы института — откликнутся на призыв райкома ВЛКСМ и, добровольно покинув стены института, пойдут на фронт. И при открытом голосовании все дипломники подняли руки и единогласно стали «добровольцами».

Всех их направили в Магнитогорское бронетанковое училище. Следом за ними в училище пришло разъяснение, что дипломников-станкостроителей мобилизовали ошибочно.

В Магнитогорск с правительственным разъяснением поехала группа родителей.

В Москву вернулись все дипломники, кроме Виктора и его друга. Им что-то не понравилось в конструкции машин.

Виктор тут же стал предлагать усовершенствование каких-то узлов. Ему было очень трудно привыкать к армейской дисциплине, но стремительное овладение всем комплексом — от вождения машин до сборки, ремонта и т. п. — выделяло его и облегчало трудное существование курсанта бронетанкового училища.

Невозможно определить, как многим я был ему обязан. У нас все было общее.

Деньги, которые давали нам родители, и заработанные им наши стипендии.

На все свои вечеринки он приглашал меня.

Все девочки, влюбленные в него, танцевали со мной. Я сидел с ними за столом, как равный, но и Витю я приглашал на все мои студенческие вечера, когда в шестнадцать лет стал студентом юридического института и когда мы, члены литературного кружка, руководимого Осипом Бриком, выезжали читать свои стихи в студенческие общежития, а потом пили и веселились всю ночь напролет.

Я тоже строил и пилил и благодаря ему увлекался авиамоделизмом. И на его велосипеде научились кататься и я, и все мои ровесники. Он не жалел своего времени и своего велосипеда, и, когда что-то ломалось, мы все стояли вокруг него, а он показывал нам.

Но больше всего он помог мне, когда я столкнулся с невыносимыми трудностями военного училища.

Он каждый день писал мне письма, и мне легче становилось жить.

Двадцатитрехлетний младший лейтенант, он пропал без вести в Сталинграде, в августе 1942 года.

Годы в памяти воскресли. / Детство, школа и война. / Девочка в глубоком кресле / у раскрытого окна. / Маскировка, голод, лето. / Я восторженно стою. / Про транзитные билеты / и про сердце говорю. / Три минуты остается, / остальные на войне, / а она в окне смеется / и рукою машет мне.

Глава 3

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ МЫТАРСТВА

На подрамнике белый холст — / через наши разлуки мост. / Ширина его и длина — / то дверная щель, то страна. / Метр сурового полотна / и четыреста грамм белил, / словно Библия и война / или лестница без перил.

18 ноября 1942 года я получил на экзаменах по строевой подготовке и штыковому бою отметки «хорошо», и, так как по теоретическим предметам у меня были пятерки, мне присвоили звание не младшего лейтенанта, а лейтенанта. Год назад эта строевая подготовка была для меня сплошной мукой.

В отличие от большинства курсантов ничего у меня ни в чем, кроме теоретических предметов, не получалось.

В строю я шел не в ногу, почему-то движения рук у меня не были скоординированы с движениями ног.

Но по порядку.

Мне не повезло с самого начала.

По наполовину снежной, наполовину пыльной дороге из Уфы в город Бирск в конце второго дня пешего нашего пути задул ветер, и мне в глаз залетела соринка.

Вышли мы в Уфе из военкомата в своей гражданской одежде. Шуба, шапка-ушанка, костюм, свитер, шарф, туфли, галоши, рюкзаки с запасной одеждой.

Колонна наша состояла из ребят, окончивших десятилетку или один-два курса института.

По документам все были равны, а по существу — москвичи, ленинградцы, киевляне, одесситы по своему развитию намного превосходили ребят из башкирских и татарских деревень. Они плохо говорили по-русски, держались обособленно и по вечерам пели под гармошку свои грустные монотонные песни. Соображали они тоже не очень.

Соринку мне из глаза вытащил кто-то из ребят, но текли слезы и щемило. Вот так, со слезящимся, щемящим глазом, дошел я до города Бирска, расположенного на берегу реки Белой.

Военное училище размещалось в красном кирпичном здании на высоком берегу реки и вместе с двумя флигелями и огромной площадью было окружено кирпичной стеной с двумя воротами, охраняемыми часовыми в будках. Однако повели нас не на территорию училища,

а в центр города, в кирпичный неотапливаемый дом — карантин. Усталость. Неизвестность. Мы вповалку расположились на полу, кто в демисезонном пальто, кто в телогрейке, кто в шубе, шапки под голову.

Неожиданно я заснул.

В комнате, битком набитой призывниками, горела тусклая лампочка. Проснулся я ночью. Все тело чесалось. Глаз щемило, по лицу текли слезы, шапки не было, ее украли. Половина будущих курсантов проснулась вместе со мной. Такого количества блох я еще никогда не видел. Они были на полу, на одежде, в воздухе. До утра мы чесались. Утром в соседней комнате карантина нас осматривала медкомиссия: три врача и две медсестры.

Осмотр носил формальный характер: раздевались, одевались и строем направлялись в баню. Одежду, обувь — в парилку. Прямо из бани, голые и счастливые, будущие курсанты попадали в руки интендантов. Белье, гимнастерки, брюки, шинели, шапки-буденновки, новые кирзовые сапоги — все подбиралось по размеру.

Но, когда я, голый, подошел к столу медкомиссии, все обратили внимание на мой глаз. Врач-отоларинголог заявил, что у меня трахома и что я не могу быть призван.

Председатель медицинской комиссии объясняет мне, что окончательное решение относительно моей судьбы будет в течение трех дней вынесено начальником училища, что пока я должен вернуться в карантин. Трахома. Инфекционное заболевание. Как соринка за одни сутки могла превратить меня, здорового, полного сил человека, в нетрудоспособного инвалида?

Я смущен, обескуражен.

Из глаз непрерывно текут слезы. Возвращаюсь в карантин, а там уже новое пополнение. Комната битком набита. С трудом нахожу место у стены на полу, вместо подушки рюкзак, закрываю глаза и неожиданно засы-

паю. Через час просыпаюсь. Все тело чешется. Блохи. Из глаз непрерывно текут слезы. Еще не вечер.

Дежурный офицер разрешает мне погулять по городу.

Без шапки, с рюкзаком за плечами выхожу на мороз, обвязываю голову шарфом. Захожу в городскую столовую, хожу по улице и начинаю замерзать. Покупаю билеты в кино. Самому мне становится тепло, но глаза застилают слезы и смотреть на экран мучительно, возвращаюсь в карантин, но заснуть до утра не могу.

Утром буквально прорываюсь в кабинет начальника училища, объясняю мучительность и бессмысленность ситуации, прошу либо немедленно зачислить меня в курсанты в состав моей уфимской группы, либо вернуть паспорт и необходимые документы для возвращения домой, то есть в мою уфимскую комнату, может быть, в больницу.

Начальник училища, генерал, связывается с медкомиссией, и решение принимается компромиссное. Меня направляют в баню на предмет санобработки, от туда на склад обмундирования.

Интендант на складе смущен. Белье новое и чистое, а вот обмундирования нет — все было распределено вчера. Приносит мне старую, грязную, в коричневых пятнах, порванную, длинную, мне почти до пяток, шинель без хлястика, приносит валенки с оторванными подошвами и буденновку, которая наползает мне на глаза. Только ремень новый. Надеваю что есть. Офицер объясняет мне, как пройти в казарму и найти свой взвод.

Выхожу на улицу. Навстречу, во главе со старшиной, рота курсантов. Внезапно все поворачивают головы в мою сторону, останавливаются и — гомерический хохот. Кто-то кричит:

— Ура! Инвалид войны 1812 года, инвалид 1812 года!

У меня из глаз текут слезы, я ускоряю шаг, и вот уже казарма, мой взвод. Снимаю буденновку, и все меня узнают и — гомерический хохот, но не злой, а добрый. Меня окружают друзья.

Кто-то достает ножницы, коллективно обрезают до нормальной длины шинель, заштопывают дыры, пытаются отмыть пятна, но ничего не получается. Зато буденновку подшивают, и она уже не сползает на глаза. Мне смешно, как и всем.

Три дня нас не трогают, только днем на два часа посылают на расчистку снега. К моему и всеобщему удивлению, на третий день я просыпаюсь, открываю глаза и все вижу, и ни одной слезинки.

Трахомы как не бывало. Иду на медкомиссию.

Врачи удивлены.

— Вам повезло, — говорят, — видимо, было просто сильное засорение, воспаление.

Всем взводом празднуем, отмечаем мое выздоровление. Это счастье — я полноценный курсант. За три предшествующих дня мы узнали друг друга, кто где жил и учился и кто чем увлекался. Кто окончил десять классов, кто, как и я, успел окончить один или два курса института.

Кто увлечен спортом, кто театром, кто математикой, а я — юрист второго курса — рассказываю о своем литературном кружке, о Лиле и Осипе Бриках, о Борисе Слуцком, о поэте Александре Блоке и читаю свои новые стихи.

На четвертый день командир роты представляет нам командира нашего взвода лейтенанта Мищенко — пунктуального грубоватого деревенского парня, до войны окончившего военное училище.

Лейтенант выводит нас на плац напротив казармы, командует:

— В одну шеренгу становись! Смирно!

Идет вдоль строя и вдруг останавливается напротив меня и звонко:

— Эй, в засранной шинели — два шага вперед! Пять нарядов вне очереди!

Я краснею и тупею, стою перед строем, а он назначает курсанта Гурьянова своим заместителем, старшим

сержантом, а Олега Корнева — начальником моего отделения и младшим сержантом. Курсант Заполь поднимает руку и просит разрешить ему на несколько минут выйти из строя. Туалет.

— Отставить, — командует лейтенант и минут двадцать объясняет нам, кем мы станем, где расположены какие учебные классы. Под сержантом Заполем образуется лужа.

Я ее не вижу, а строй не может удержаться от хохота. Оборачиваюсь, смотрю с удивлением на бледного Заполя и с ужасом — на лужу. А лейтенант командует:

— Смирно! — пересекает плац, заходит минуты на три в казарму и возвращается в сопровождении высокого, с несколько вытаращенными глазами, огромным садистическим подбородком и острым кадыком на шее человеком неопределенного возраста. — Это ваш старшина, — говорит он, — по всем вопросам обращаться к нему, рекомендую беспрекословно выполнять все его распоряжения. Вольно! Временно вы переходите в другое помещение.

Очень высокая полутемная комната, к стене примыкают двухъярусные нары.

Никаких перегородок.

Матрац к матрацу.

Постельного белья нет.

На каждом матраце лежат: подушка без наволочки, саперная лопата, по два патронташа, противогаз.

— Спать будете в шинелях, — приказывает старшина, — с ремня не снимать ни саперной лопаты, ни патронташей, наполненных вместо патронов кирпичами, ремни перед сном можно ослабить, лямка противогаза на плече, только сапоги с обмотками можно снять и поставить на пол перед нарами.

На матраце слева от меня курсант Денисов — умный, но робкий, небольшого роста деревенский парень. Я его угощаю захваченными из дома шоколадными конфетами.

Он поражен.

— Я же, — говорит, — ничего не смогу тебе дать взамен, и денег у меня нет. — И никак не может понять, что я его угощаю, что мне ничего от него не нужно.

В семь утра — подъем, построение. Вскликаем, как спали, в шинелях, застегиваем гимнастерки, затягиваем ремни. Слева на плече противогаз, на ремне — набитые обломками кирпичей патронташи, на ногах у всех сапоги, а у меня — валенки с оторванными подошвами. Снег, грязь — все попадает туда. Справа, на ремне в чехле, саперная лопата, десять минут на приведение в порядок: бритье, умывание, туалет.

Парового отопления, водопровода, уборных в наших кирпичных казармах нет. Отапливается помещение дровами. Воду утром приносят в ведрах из расположенной метрах в пятидесяти от казармы неогороженной скважины и заливают в умывальники проштрафившиеся курсанты.

Рядом с колодцем в сарае-уборной около сорока загрязненных овальных дыр. Из-за спешки никто в дыру не попадает. Чтобы расстегнуть ремень и пуговицы на брюках, приходится расстегивать ремень на шинели, противогаз и лопата мешают поднять полы шинели.

Приподнимаю противогаз, и в это время лопата соскакивает с ремня и, падая в дыру, зарывается в содержимое ямы.

Отпускаю противогаз.

Достаю покрытую испражнениями лопату, тру о снег, пытаюсь отчистить, а время идет, я опаздываю на построение и получаю три дополнительных наряда.

И начинается. Подъем в шесть утра, за час до общего подъема, мытье полов, уборка туалетов, заготовка дров. Мытье полов после отбоя.

Письмо Виктору 2 января 1942 года

«...Занятия у нас идут вовсю. Свободного времени не остается... Мне здесь в одном отношении очень не везет.

У меня украли новые кожаные перчатки, а вчера шинель пытались украсть. Здесь это распространено. К сожалению, вор не был пойман, мог бы попасть на губу...»

Письмо Виктору 28 января 1942 года

«В последнее время я получил боевое крещение по части нарядов. За нерасторпность меня два раза гоняли пластунским способом по двору. Я не всегда успеваю умыться утром... В остальном чувствую себя сравнительно хорошо. Учиться здесь не трудно... но получать отметки мешает сон и сонливость. Я засыпаю почти на всех уроках и сплю на самоподготовке...

Кормят нас прекрасно, но порции небольшие и, кроме того, проблемы по скорости, с которой нас заставляют поглощать пищу.

Занимаюсь общественной работой: как юрист, я член товарищеского суда, как литератор — член редколлегии... Ты жаловался на то, что не выходишь на свежий воздух. У нас бегать по улицам приходится поневоле. Классы, учебные здания находятся в разных концах города... Нет худа без добра».

Через два дня на построении командир взвода обнаруживает, что у меня нет на шинели хлястика. Именно такой, без хлястика, получил я ее на складе, но он в подробности входить не собирается — пять нарядов вне очереди.

Вместе с таким же, как я, неуклюжим Денисовым таскаем, пытаюсь не поскользнуться, из неогороженной проруби и заливаем в умывальники воду, колом дрова, после отбоя час моем полы.

А хлястик?

Хлястик — это особая история. В училище на несколько сот курсантов не хватало трех шинельных хлястиков. Между тем за отсутствие их командиры взводов давали курсантам по пять—десять внеочередных нарядов.

Я начал засыпать на теоретических занятиях. Шел десятый день моего пребывания в училище, а у меня список нарядов не уменьшался, а увеличивался и дошел уже до двадцати. Я в состоянии беспросветной катастрофы: ноги мокрые, из носа течет, глаза сами закрываются. Перед отбоем я обратился за помощью к курсантам своего взвода.

Безнадежность, надрывность речи. До сих пор курсанты мои надо мною подсмеивались, а тут было что-то пронзительное — не просто усталость, а предельная неуразанность моего положения поразила всех.

Хлястик решили всем взводом добывать в столовой.

Столовая располагалась в полутора километрах от казармы и учебных корпусов.

На построение все выходили теперь с винтовками дореволюционного образца. Были к ним примкнуты штыки, и были они со штыками очень тяжелыми.

Между тем старшина роты через три минуты после начала очередного марша командовал:

— Запе-вай!

Курсант Василевский запевал:

*Школа красных командиров
Комсостав стране родной кует,
В смертный бой вести готовы
За трудящийся народ!..*

В конце ноября грязь на улице, ведущей в столовую, замерзла, и образовалась поверхность из ямок, скользких и ухабов.

Маршируя, спотыкались все, а я еще вместо левой ноги вперед шел правой.

Но это было еще возможно. После слова «народ!..» старшина обычно командовал: «Бегом марш!» И тут начинались чудеса: саперные лопаты на бегу, болтаясь, застревали между ногами, противогазы переползали и оказывались между патронташами и рукой с винтовкой (из-за тяжести винтовку приходилось перекладывать из правой в левую руку и обратно), из-за ухабов и скользи-

лок строй разваливался. Спотыкаясь, чтобы не упасть, я пробегал вперед и, чтобы, падая, не пропороть штыком соседа, задыхаясь, не помня себя, выскакивал из строя. И тут команда:

— Взвод! На месте шагом марш!

Взвод в это мгновение был уже задыхающейся толпой, но я, выскочивший за пределы толпы, опять оказывался в центре внимания, и старшина злобным, хриплым голосом кричал:

— Курсант Рабичев! Десять нарядов вне очереди! — А потом: — Запе-вай!

На двенадцатый день на утреннем построении я зашнул в строю и с примкнутым штыком упал и получил уже не помню какое наказание.

25 декабря 1941 года

«Дорогая мама!

Никак не могу привыкнуть к своему положению, главным образом потому, что не умею ни ходить в ногу в строю, ни бегать. Первые месяцы на это смотрели сквозь пальцы, теперь мне буквально не дают прохода. Каждый старается подковырнуть как-нибудь. Мне кажется, что я ходить не научусь и что меня будут держать в стенах училища, если только будут держать, до конца войны. Таким образом, я рискую стать вечным курсантом. Мне надоело ходить в мокрых валенках. У меня не проходит насморк и кашель. Опаздываю на построения и получаю наряд за нарядом. Мою полы, ношу из проруби ведра с водой, колю дрова, чищу туалеты и тому подобное.

23 февраля в день Красной армии получил увольнение, рыскал по всем столовым города и, в конце концов, здорово наелся. Целую! Леня...»

Вечером в часы (два часа) самоподготовки я навёрстывал по учебникам то, что просыпал в классах: электро- и радиотехнику, телефонию, уставы — и на занятиях получал пятерки.

Это спасало меня. Но я опять ушел от темы.

26 декабря 1941 года

В раздевалке перед столовой были расположены вешалки для шинелей всех рот и взводов училища, для каждого взвода — около сорока крючков, около каждого сорока шинелей на посту, чтобы не украли — по два курсанта. План был таков: перед вешалкой соседнего взвода имитировать спор, готовый перейти в драку.

Кто-то из курсантов должен был обратиться за помощью к дежурным того взвода, любой ценой отвлечь их внимание от охраняемых ими шинелей, а в это время два наших курсанта с ножницами должны были отрезать хлястик от любой попавшей в поле их зрения шинели.

Операция удалась. После возвращения из столовой я пришивал к своей желто-серой, отнюдь не цвета хаки, шинели свой новый хлястик.

К сожалению, на третий день после завтрака на шинели у курсанта Сиротинского не оказалось хлястика. На следующий день операция в виде «боевого задания» была повторена.

В этой «огромной битве» за два хлястика принимали участие все курсанты училища, нет, несколько выпускников училища, видимо, на протяжении всей войны.

Офицеры всех рангов училища неоднократно повторяли знаменитую крылатую фразу Суворова: «Тяжело в учении — легко в бою!» Завтрак, видимо, входил в понятие учения.

Старшина на завтрак выделял пять минут.

Два курсанта разрезали несколько буханок черного хлеба на ломтики.

Они торопились, и ломтики получались у одних толстые, у других тонкие. Это была лотерея, спорить и возражать было некогда. На столе уже стоял суп из полусгнивших килек, кильки приходилось глотать с костями. На второе все получали пшеничную кашу.

В первый день я не мог съесть ни супа, ни каши и поменял их на четыре компота.

Оказалось, что существовала отработанная практика обменов. За суп — два компота, за второе — четыре, за хлеб и сахар — второе или наоборот.

Полуголодное существование, с которым я еще не успел столкнуться, вырабатывало свои отнюдь не соответствовавшие представлениям «гражданки» типично рыночные товарные отношения.

Бег из столовой в учебные корпуса ничем не отличался от бега из казармы в столовую.

Однажды я серьезно провинился. Перелез через чугунную решетку, отделяющую училище от города. Пропадая от голода, рыскал по городу в поисках пирожков со свеклой — других в Бирске в продаже не было, — нашел их в каком-то служебном буфете, наелся досыта и при выходе на улицу попал в руки наряда, цель которого была вылавливать блуждающих по городу без разрешения на увольнение курсантов. Командир роты и командиры трех взводов долго допрашивали меня и решили передать дело в трибунал. Помню, как я временно был поставлен в караул, и душа у меня уходила в пятки.

Перечеркивалась вся моя прежняя жизнь. Вечером меня посадили на «губу». Жестокое наказание было вызвано случайным совпадением. Подобно мне и одновременно со мной перелез через решетку курсант из другого взвода и, в отличие от меня, в казармы не вернулся, дезертировал.

Видимо, пытаясь выслужиться, а вернее, для самооправдания нас объединили. Сначала я думал, что все всерьез, а потом понял, что это для какой-то игры, а какой — не знал. Вечером ко мне в камеру пришел помкомвзвода Гурьянов и сказал:

— Не паникуй! Все понимают, что ты не собирался дезертировать из училища, но у офицеров нет табака. Пиши в Уфу матери, чтобы она срочно привезла тебе две пачки легкого табака, привезет — все будет в порядке. Пиши письмо, завтра оно будет в Уфе.

Я написал письмо, и мама на следующий день на рынке в Уфе обменяла мой пиджак на три пачки «Золотого руна», взяла на три дня отпуск. В Москве она была заместителем директора Экспериментального завода режущих инструментов, и, как человека партноменклатурного, в Уфе ее сделали начальником гужевого транспорта города. За десять часов пара лошадей по накатанной зимней дороге довезла ее до Бирска. Узнав, в чем суть дела, она пошла на прием к начальнику училища, подарила ему пачку табаку. Тот разрешил ей свидание со мной.

Она вошла в камеру, положила на стол буханку черного хлеба и дала мне две пачки табаку, которые я тут же передал Гурьянову. Через час при смене караула меня выпустили из камеры, и сержант предложил мне после трехчасового свидания с матерью отправиться в свой взвод.

Инцидент с трибуналом, ко всеобщему удовлетворению, был исчерпан, только, разговаривая с мамой в камере, я как-то незаметно, отщипывая по ломтику, съел уфимскую буханку хлеба.

Состояние моих ног привело мою маму в ужас. Шнурки, которыми к подошвам были пришиты голенища моих валенок, давно сгнили. Гвозди, которыми каптерщик старался скрепить подошвы, вылезли, из двух открытых дырок, как из разинутых пастей, торчали мокрые, полусгнившие, дурно пахнущие портянки, внутри которых в застарелой грязи плавали мои мокрые замерзающие ноги.

Я систематически заглядывал в каптерку, но никакой подходящей замены найти не мог. А тут вдруг, узнав, что ко мне из Уфы приехала мать, прибежал каптерщик с парой новых американских военных ботинок, новыми портянками и новыми обмотками.

Никогда я себя так комфортно не чувствовал, но ведь опять возникло дикое различие: все училище в чер-

ных кирзовых сапогах, а я в высоких желтых ботинках и новых коричневых обмотках, и опять все внимание на мои не в ногу марширующие ноги — у всех левая нога вперед, а у меня правая. Пять нарядов вне очереди.

Неужели я когда-нибудь начну ходить как все?

Мама уехала в Уфу, а на следующий день, после подъема, командир взвода приказал всем курсантам надеть противогазы. Наступил день химподготовки.

Письмо Виктора, Магнитогорск, 21 января 1941 года

«Дорогая мама! Ты пишешь, что у Лени все плохо. Я ожидал, что это будет так. Вначале вообще тяжело, а в настоящее время и для Лени в особенности, однако имей в виду, что есть места гораздо хуже...»

Письмо 8 февраля 1942 года

«Благодаря недостаткам моей шинели меня гоняли попластунски. Это у нас практикуется после обеда. Так вот, эту шинель мне сегодня обменяли. Но, кроме того, сегодня нас разоружили. До сегодняшнего дня нас круглые сутки заставляли носить на себе противогазы и саперные лопаты (приятное сочетание)».

Письмо Виктора, Магнитогорск, 24 февраля 1942 года

«Дорогой Леня! Выпускные зачеты позади, окончились еще 14 февраля, и началась непрерывная строевая подготовка по десять часов в день, ждем со дня на день приказа о выпуске, а когда он произойдет? Говорят, через 5...10...15 дней. Ты спрашиваешь, кем нас выпустят? В основном лейтенантами и младшими лейтенантами в зависимости от того, кто и в каких отношениях с командирами взводов.

В прошлых письмах я опрометчиво расхваливал тебе нашу публику. Почувствовав близкий отъезд, начали пошаливать. Пока я отделался только тем, что у меня украл хлястик от шинели...»

Между прочим, видел английские танки. Сделаны аккуратно, но наши гораздо мощнее, лучше и, пожалуй, даже удобнее. А пока будь здоров! Витя».

*20 февраля 1942 года, мое письмо в Уфу
«Дорогая мама!*

Заказал на завтра телефонный разговор, но не знаю, что из этого получится. Есть у меня одна просьба: у меня украли полотенце, если есть у тебя, пришли мне по почте самое старое, самое дырявое для отчета. Здесь важно только название. Целую, Леня».

Как всегда, в руке ружье с примкнутым штыком.

— К ноге! — командует старшина.

Справа на ремне саперная лопата, слева — патронташ с битыми кирпичами и противогазная сумка.

— На пле-чо! Шагом марш!

Прошло три минуты, и стекла в противогазе запотели.

Ничего не видно.

— Бегом марш!

Взвод из ворот училища выбегает на улицу, ведущую в столовую.

Скользилки, выбоины, ямы, штыки. Правым локтем пытаюсь обнаружить, где правый сосед, левым — где левый, ноги дрожат, мысль только одна — как не упасть и не пропороть штыком соседа. Казалось бы, левой рукой можно было при помощи резинового пальца протереть изнутри стекла противогаза, но левой рукой я держусь за рукав левого соседа, ноги дрожат и разъезжаются, дыхание от недостатка воздуха перехватывает, а старшина:

— Бегом марш!

Кто-то в строю падает.

Команда:

— Стой! На месте шагом марш! Протереть противогаз! Бегом марш!

Через три минуты стекла снова запотевают. Сосед слева, хрипя, советует мне отвинтить перфорированную

трубку противогаса от находящегося в сумке фильтра. Левоу рукой отвинчиваю трубку. Дышу полноу грудью, но проделка моя не ускользает от внимания старшины.

— Стоу! Курсант Рабичев, выйту из строя!

Подходит ко мне и выдергивает трубку из мешка:

— Десять нарядов вне очереди!

Красные, мокрые, потные, добираемся до столовой. Нас наказывают. На еду три минуты. Две ложки супа, два глотка каши, хлеб и сахар в карман.

Построение.

— Противогасы надеть!

Это ад, и выхода из него нет. Падаем, поднимаемся, добираемся до учебных корпусов. Здесь просторные классы, у каждого место за столиком, но противогасы снимать нельзя. Лекция по электротехнике, монотонный голос лектора не доходит до сознания. Взвод спит.

Команда:

— Встать! Протереть противогасы!

По стеклам бегут струйки пота, но минут десять все видно. Записываем в тетради и по одному засыпаем.

Противогасы снимаем вечером перед двухчасовыми занятиями — самоподготовкой. На самоподготовке — чистка оружия, которое невозможно отчистить.

Лейтенант смотрит в грязный ствол 1910 года и назначает три наряда вне очереди.

Письмо от 21 мая 1942 года

«Весна вместе с грязью принесла солнце, и, хотя обувь и промокает снизу, она подсыхает сверху — это хорошо!.. Случилось чудо! Я получил «хорошо» по строевой подготовке и таким образом превратился из «среднего», посредственного курсанта в хорошего...»

Кончается май месяц.

Сотни нарядов не прошли даром.

Я научился ходить в ногу, но теперь возникает новая трудность. Взвод разделяется на группы по восемь

человек, и по очереди каждый становится «командиром взвода».

Уставы выучены наизусть, все возможные команды выучены наизусть, а теперь — практика.

Командую:

— Смирно!

А лейтенант кричит:

— Отставить! Повторите сначала.

«Вольно» — это получается, а вот «Смирно!» — никак. Прислушиваюсь к тому, как командуют другие. Они это короткое слово разделяют на части: «Смирррр!.. но!» Я тоже разделяю, но получается полная чепуха. «Смир... но». («Но» — что? Но — не смирно?)

Видимо, все дело в грубости выкрика, в хрипlosti, в резкости, в пугающей неожиданности, а у меня опять что-то интеллигентное. Курсанты мои смеются, а меня охватывает злость, и я командую: «Смирррр...» — длинное «рррр», вроде рычания и никакого «н», а во весь голос: «ООО!», «Смирррр...О!» И почему-то не замечает никто, что я букву «н» проглотил, а лейтенант:

— Ну, вот и научился, молодец, и давай дальше поменьше интеллигентских штук.

А я жутко рад. «Смирррр-о!»

«Шагом марш» — это тоже интеллигентские штучки. Замечательно — это когда «Ша-гм арррш!» Это уже по-армейски.

По теоретическим дисциплинам у меня пятерки, по строевой подготовке было из жалости «три с минусом», а теперь «четыре».

К лету я становлюсь полноценным курсантом, но «тяжело в учении — легко в бою!». Два невыносимых дня в неделю — химподготовка и тактика.

Кажется, это еще апрель 1942 года. Винтовка со штыком весит около пуда, саперная лопата, патронташ с кирпичами, противогаз... «Бегом... аррш!» — километр, пол-

тора, два... Кто-то падает и теряет сознание, но бег продолжается, падают еще три курсанта. В конце третьего километра команда:

— Ложись!

Все с разбега падают на промерзший, покрытый тонким слоем снега луг.

— По-пластунски вперед марш!

Майор, проводящий занятия по тактике, маленького роста, но у него голос — удивительно громоподобный бас. Он бежит налегке, на боку наган, обут в лайковые сапоги.

Я задыхаюсь, ползу, наконец, все силы кончаются. Останавливаюсь. Половина взвода лежит позади меня, половина впереди, но команды не выполняет никто.

Вне себя майор командует:

— Встать! Шагом марш!

Никакого строя нет, все встают там, где их застала команда, и идут вперед, но в пятидесяти метрах впереди река, и идущие впереди меня курсанты, достигая полузамерзшей реки, в недоумении останавливаются, а майор, охрипший, злой, беспощадный, командует:

— Ложись! Встать! Вольно! Смирно! Вперед марш!..

И передние идут в воду. Они еще не знают, что это брод, вода по пояс, чуть выше и начинает снижаться. Мокрые, мы выходим на противоположный берег.

— По-пластунски, вперед марш!

Ползем еще метров пятьдесят. Взвод рассыпался. На другом берегу лежат потерявшие сознание солдаты. В сапоги и ботинки попала вода, но майор не полный идиот.

Мы переходим реку вброд назад, едва приходящим в сознание курсантам помогаем подняться на ноги. Майор смеется. «Тяжело в учении — легко в бою».

Строем с песнями возвращаемся в казарму.

По приказу сверху Ленинградское училище связи было переквалифицировано в Бирское училище ВНОС КА.

Один из главных предметов теперь — авиация. Устройство, вооружение, технические данные, предельные высоты и скорости полета, маневренность всех видов наших и немецких самолетов, ежедневное прослушивание шумов их моторов.

Мнения различные. Все знают, что посты службы ВНОС, входящие в состав противовоздушной обороны страны, располагаются вокруг крупных городов и состоят в основном из женщин. Большинство курсантов рвется на фронт. Считали, сколько дней останется до выпуска, и вдруг — что это за ВНОС?

— А это просто, — говорит курсант Большинский, — аббревиатура означает: «Война нас обошла стороной».

Но недоумевать некогда. В июле занятия ожесточаются.

ФИЗО. Учимся в реке Белой плавать и прыгать с вышки.

В результате первых прыжков я разбиваю правый, а потом и левый свой бок. Однако все нормы по плаванию выполняю.

Ночью по команде «Тревога!» выбегаем на плац. Построение. Скатываем шинели в скатки, получаем плащ-палатки. «Рассчитайсь! Шагом марш!» Бросок на пятнадцать километров. Привал. Кто-то натер ноги, перематываем портянки, расстилаем плащ-палатки, взвод засыпает. «Подъем!» — еще пятнадцать километров.

Цветы, травы, звезды, птицы, кузнечики. Копаем окопы, ходы сообщения, строим блиндажи. Из кирпичного ада, из мешанины субординаций, дневного пота (гимнастерки покрыты слоем белой соли) и ночного ползанья по-пластунски мы попадаем не в башкирскую глубинку, а в райский оазис.

На горе село. К нам на придорожный луг спускаются женщины с ведрами молока, сметаны, ягод. Сначала испуг: «Что, до нас война дошла?» Потом жалость. Ведь такие же, как мы, их женихи, мужья, братья, дети на войне, и нам осталось до войны чуть-чуть. И несут корзины с яйцами и пироги с капустой.

И сержанты наши уже обнимают девушек и вдовушек.

А нам не до любви.

Мы спим, спим двое суток. А на третьи прибывают машины с тремя столбами, бухтами провода, металлическими «кошками», крюками, изоляторами, роликами.

Нам предстоит построить пять километров постоянной телефонной линии.

Копаем вдоль дороги ямы, устанавливаем на заданном направлении три столба. У каждого на ногах «кошки», по очереди залезаем на столбы, вкручиваем металлические крюки (за терминологию не ручаюсь), закрепляем ролики. Все виды соединений, закреплений, скруток, спаек, изоляций проводов — каждый по несколько раз режет и соединяет. В конце отрезаем первый пролет, выкапываем первый столб, переносим его на сто метров вперед, вкапываем. День за днем, три столба, а позади ямы, ямы. Каждую свободную минуту спим, спим и никак не можем до конца отоспаться, и этот сон, и пироги, и молоко, и сметана, которые без конца несут женщины из села, и их сочувственные взгляды — это негаданное блаженство.

Пишу о мелочах и никак не могу добраться до главного — абсолютно все мечтают о дне, когда любой ценой попадут на фронт, о фронте думают как о счастливом завершении занятий. Не важно кем — солдатом, ефрейтором, сержантом, лейтенантом — страна в опасности. В июле нам перед строем зачитывают приказ Сталина о Сталинграде.

Там наши братья и родители обязаны своей кровью искупить безумное отступление.

Ни шагу назад.

Им нужна помощь.

Население вокруг бедствует, то и дело вопросы — скоро ли на фронт?

Почему союзники не открывают второй фронт? Половина курсантов пишет рапорты о досрочной отправке на фронт. А мы едим сметану, спим между трав и цветов.

В конце июля построение и тридцатикилометровый марш в казарму и учебные корпуса.

Разбираем и собираем, ломаем и чиним телефонные аппараты, полевые радиостанции, коммутаторы, овладеваем приборами, режем, паяем, зубрим уставы, на плацу стараемся овладеть приемами штыкового боя, собираем и разбираем наганы, пистолеты, боевые винтовки, автоматы, ручные пулеметы и минометы.

Саперные лопаты, старинные ружья со штыками, противогазы, патронташи, набитые кирпичами, больше не носим.

На полигоне стреляем в мишени из настоящих винтовок и наганов, из укрытий бросаем гранаты — наши, немецкие, лимонки. Без конца изучаем их устройство. И без конца, снова и снова изучаем уставы.

Нас переводят в высокие и светлые комнаты с отдельными пружинными кроватями, матрацами, шерстяными одеялами, подушками с наволочками, но уже середина сентября, погода портится, в казармах градусов восемь, холодно, и под одним шерстяным одеялом согреться нельзя.

Отбой, три минуты на раздевание. Летом мне наконец выдали новые кирзовые сапоги, новую, по росту шинель, вместо буденновки — пилотку.

Больше я во время маршей и построений ничем не выделяюсь от остальных, стал как все.

Но лето позади, допекает голод, холод и появившиеся от авитаминоза гноящиеся язвы на ногах.

Чистый, укладываясь в заданное время, ложусь в свою индивидуальную постель, но через десять минут начинаю дрожать, и зуб на зуб не попадает. Еще минуты три — и курсант Денисов срывает со своей постели одеяло и подушку и устремляется ко мне. Чтобы согреться, мы прижимаемся друг к другу, накрываемся двумя одеялами и двумя шинелями и через пять минут засыпаем.

А через пятнадцать минут входит старшина:

— Подъем! На первый-второй рассчитайся, на плац бегом марш!

Вниз по лестнице на плац.

— Ложись, по-пластунски вперед марш!

Через месяц или два выпуск, почти все экзамены сданы.

Мы уже не те, что были десять месяцев назад.

Старшина объяснений, как всегда, не слушает, жестокость и жесткость его явно не оправданы. На плацу грязь, идет мелкий дождь.

Никто с места не двигается.

У старшины глаза вылезают из орбит, такого еще не было.

— Встать!

Взвод поднимается.

— Ложись!

Взвод ложится.

— Встать!..

Уже двенадцатый час, все, в том числе и старшина, хотят спать.

— Вольно! — командует старшина и все устремляются в свои постели.

Через десять минут зуб на зуб не попадает. Денисов с одеялом, подушкой, шинелью бежит ко мне, согреваемся, засыпаем.

Через пятнадцать минут:

— Подъем!

Глаза старшины, как и наши глаза, полны ненависти. Всем ясно, что старшину надо наказать. Но как? И тут приходит решение, которое мы знаем со слов старшего поколения курсантов. Это легенда училища. Мы стараемся не спать, ждем, когда заснет наш мучитель, и, когда это происходит, по одному подкрадываемся к его сапогам и по одному мочимся. Двадцать курсантов, в сапогах зловонное море.

Утром старшина просыпается и утопает в нашей коллективной моче.

— Подъем!

Построение.

— Старший сержант Гурьянов, ко мне! Кто нассал в сапоги?

— Не знаю.

— Сержант Корнев, ко мне! Кто...

— Не знаю.

Старшина вызывает командира роты. Тот не выдерживает и смеется. Потом вызывает по очереди курсантов, но никто ничего не знает. Процедура повторяется каждый день. Старшина больше не заходит в помещение взвода, но на плацу зверствует. Однако экзамены позади. У меня все отметки, кроме строевой подготовки, — пятерки, по строевой — четверка. Я редактор стенной газеты, ротный поэт. В каждом номере боевого листка мои стихи. Начала не помню, а конец:

*...Торжественным маршем пройдет по Берлину
Овеянный славою русский солдат!*

Командир училища объявляет мне благодарность и вручает премию — двадцать пять рублей.

Десять месяцев каждое воскресенье нас водили в клуб. Патефон. Лейтенанты и сержанты танцевали, а я забирался в угол, опускал голову на руки и засыпал. На

улице я нашел книгу без начала и конца. Когда через неделю начал читать, обнаружил, что это «Очарованная душа» Ромена Роллана.

Часа полтора в клубе я спал, а потом начинал читать, и был этот текст невероятно созвучен моей душе. И вот однажды, когда я читал, подошла ко мне незнакомая девушка и спросила, что за книга, а потом пригласила на очередной танец, но я от неожиданности так разволновался, сказал, что нога болит, сегодня не могу.

— А в кино со мной пойдешь? — спросила она.

Это было как сон.

— Пойду, — сказал я, и мы вышли из клуба, а она сказала, что через два квартала ее дом и чтобы я посидел в большой комнате, пока она в своей маленькой будет снимать туфли на высоких каблуках, и закрыла за собой дверь.

Я сел на стул, посмотрел на стол, и сердце у меня забилось. Ее родители и братья перед нашим приходом ели гречневую кашу, и на каждой тарелке оставалось по одной-две ложки, которые они не доели. Объяснить ничего не могу.

Я бросился к столу и начал стремительно доедать их объедки. Еду я глотал не разжевывая.

Таня купила билеты в кино, попросила последний ряд, думала, наверно, что мы будем целоваться, но едва я сел на свое место, едва погасили свет, как сознание покинуло меня, я заснул намертво. Она гладила мои руки и целовала меня, но я не просыпался. Когда картина кончилась, она разбудить меня не могла и воткнула мне в руку английскую булавку. Я вздрогнул, проснулся, но понять ничего не мог.

Мы вышли из кино, она что-то говорила, я поддакивал, потом увидел ворота своего училища и вяло попрощался с ней.

И она навсегда ушла.

Любви не получилось.

Глава 4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Это были дни восторга и энтузиазма.

Еще полгода назад нас перестали стричь наголо, у всех образовались прически. Получили офицерские шапки и полушубки, получили деньги. Я пошел в парикмахерскую.

20 ноября приехала приемная комиссия из Москвы.

21 ноября я окончательно сдал все экзамены и получил все пятерки.

22 ноября вечером мы били нашего старшину.

На голову ему набросили плащ-палатку, били не слишком, но достаточно и беззвучно. Когда старшина через полчаса появился, все лежали на своих кроватях. Синяк под глазом, из носа капала кровь. Он ходил по комнате, заглядывал всем в глаза. Агрессивность его как рукой сняло. На него жалко было смотреть, тем более что ему, в отличие от всех курсантов взвода, присвоили звание не лейтенанта, а младшего лейтенанта — плохо знал теоретические предметы, на занятия не ходил.

Трудно описать, какое счастье распирало всех нас. Завтра через Уфу поезд увезет нас в Москву, из Москвы на фронт. Одна из самых тяжелых страниц жизни оставалась позади.

От полуголодного существования, заполненного физическими перегрузками, у большинства курсантов, так же, как и у меня, на ногах были глубокие гноящиеся раны, но боль и неудобства от них не шли ни в какое сравнение с днями химподготовки и тактики, с тяжелыми подъемами, с невыносимой тяжестью физического труда, связанного с бесконечными нарядами первых месяцев.

Будут опасности, ранения, может быть, смерть за Родину, но такого больше никогда не будет.

Счастье, что это было позади.

Поскрипывали тормоза вагонов, за окнами прости-
ралась бесконечная Россия.

В Москве нас встречали офицеры из резерва Ставки.
В автобусах доставили в Спасские казармы на Садовой,
рядом с больницей имени Склифосовского.

В полутора километрах от казарм был мой дом, были
отец и мать, однако почему-то позвонить домой мне не
разрешили, и я совершил очередной отчаянный посту-
пок. Договорился с часовым у ворот, что через полтора
часа вернусь, пересек Садовую и без документов, по про-
ходным дворам и кривым переулкам, спасаясь от дежу-
рящих на каждом перекрестке военных патрулей, добе-
жал до своей квартиры на Покровском бульваре.

Мама была дома и обалдела от радости.

Папа на работе.

В квартире было холодно. Я объяснил, где нахожусь,
и назначил родителям свидание у ворот казармы в во-
семь часов вечера.

Через сорок минут я был уже в казарме. Утром полу-
чил документы и направление на Центральный фронт,
на имя начальника связи штаба 31-й армии.

Из всего нашего училища такие же документы полу-
чил только один курсант моего взвода — Олег Корнев.

В кассе, кажется, Киевского вокзала мы получили
бесплатные билеты сначала до Наро-Фоминска, а потом
через Москву до Вязьмы.

О времени отъезда я сумел сообщить отцу.

Вагон был красный, товарный, с двухэтажными на-
рами внутри и был битком набит солдатами и офицера-
ми, направляющимися на фронт.

Олег втиснулся на нижние нары, я сумел забраться
на верхние нары и оказался лицом к лицу прижат к ми-
ловидной девушке — санинструктору.

Было что-то мучительное.

Папа стоял на платформе, а я его так и не увидел,
а девушка дышала мне в рот, и дыхание ее волновало
меня.

Мы сначала невольно, а потом взапой без конца целовались. Одна моя рука была зажата, перевернуться, так же как и развернуться, было невозможно, говорили задыхаясь, шепотом, что, наверное, это судьба, но при высадке, километрах в пятнадцати от переднего края, в толпе навсегда потеряли друг друга, да и с Олегом я разминулся.

Каждый из нас до штаба 31-й армии, находившегося в деревне Чуногово, близ города Зубцова, добирался отдельно.

Стихи написал через шестьдесят лет — 15 марта 2002 года.

То смех, то мат со всех сторон, / Махоркой, вшами, вещмешками. / Воспоминаниями, снами, / Едой битком набит вагон. / Винтовка чья-то подо мною, / И вдруг, о чудо неземное! / Губами, грудью, животом / И всем, что видно и не видно, / Я вдавлен в медсестру. Мне стыдно! / Но широко открытым ртом / Она судьбу мою вдыхает, / Вагон скрипит и громыкает, / А время третий час стоит. / — Так тесно, как в Аду у Данте, / — Молчи! — Она мне говорит...

Лет двадцать назад собрал я в своей творческой мастерской проживавших в Москве восемь бывших своих связистов. Пили водку и вспоминали.

— Жалко, Жуков не пришел,— сказал Марков.

— Ты что? — сказал Денисов. — Жукова я под Оршей хоронил.

— Да ты что? — сказал Марков. — Я после войны из Венгрии в Москву его провожал.

— А переправу через Неман помнишь?

— Нет.

— А Гольдап?

— Нет.

— А Ирку Михееву?

- А как же, я с ней...
- А Веру Семенову?
- А как же, я с ней...
- А я с Танькой Петровой...
- Где?

Молчание.

- В Любавичах? В Сувалках? В Левенберге?

Помнили имена женщин, которых любили, друзей, которых хоронили, но абсолютно смешалось в памяти — с кем, когда, где, и то, что рассказывали другие, с тем, что пережили сами, и о каждом событии у каждого была своя версия, исключаяющая все прочие.

А я уже думал о мемуарах, но подтверждения того, в чем сомневался, да и просто понимания не находил. То, что их веселило, меня повергало в уныние.

Пропали без вести, забыты, / убиты и в землю зарыты, / без вести, как древние страны / и звезды, нет вести с которых, / и розы, которых сорвали / без цели, а может, дельфины, / калужницы знают? Тюльпаны? / Коты на заборах, стрекозы?..

О близости и муках в тесноте, / два с половиной метра, как в пенале. / Потом вагоны, шпалы, звезды, дали. / Под Оршей бег в крошечной темноте, / и каски, и кресты на высоте. / Но я уже забыл, как мы бежали. / Погасли звезды, изменился век. / Существенным в той жизни был не бег, / а близость женщины и отдых на привале.

Вязьма. Руины. Часа два скитался по бывшему городу, наконец на попутной машине добрался до штаба армии.

Окончил училище, лейтенант. Устав караульной службы знаю наизусть. Кстати, полгода назад за безобразное его нарушение получил трое суток ареста. Я ночью стоял с винтовкой в карауле у входа в складское помещение училища. До смены караула оставалось часа

полтора. Вдруг сначала звук шагов, а потом метрах в двадцати силуэт человека. Согласно уставу, кричу:

— Стой! Кто идет?

А силуэт не отвечает, и до меня уже метров десять. Кричу:

— Стой! Стрелять буду! Ложись!

И поднимаю винтовку, взвожу затвор, а он идет, и уже от меня в трех шагах, и молчит. Палец на курке. Решаю стрелять в воздух, но не стреляю. Внезапно узнаю своего командира взвода. Рапортую:

— Товарищ лейтенант! На посту номер три курсант Рабичев.

А он выхватывает у меня из рук винтовку и говорит:

— Вы почему не стреляли? Трое суток ареста.

— Товарищ лейтенант, я же вас узнал!

— Стрелять надо было. Трое суток, — и поднимает тревогу. Вызывает командира караула, меня на посту подменяет Олег Корнев, я снимаю ремень и иду на гауптвахту.

Было это полгода назад.

А сейчас — блиндаж, у входа на карауле младший сержант, но не стоит, согласно уставу, а сидит на пустом ящике от гранат. Винтовка на коленях, а сам насыпает на обрывок газеты махорку и сворачивает козью ножку. Я потрясен, происходящее не укладывается в сознание, кричу:

— Встать!

А он усмехается, козья ножка во рту, начинает высекают огонь. В конце 1942 года спичек на фронте еще не было. Это приспособление человека каменного века — два кремня и трут — растрепанный огрызок веревки. (Высекается искра, веревка тлеет, козья ножка загорается, струя дыма из носа.) Я краснею и бледнею, хрипло кричу:

— Встать!

А младший сержант сквозь зубы:

— А пошел ты на х..!

Не знаю, как быть дальше. Нагибаюсь и по лесенке спускаюсь в блиндаж. Никого нет, два стола с телефонами, бумаги, две сплющенные снарядные гильзы с горящими фитилями, сажусь на скамейку.

Снимаю трубку одного из телефонных аппаратов. Хриплый голос:

— Е... твою в ж... бога, душу мать и т. д. и т. п.

Я кладу трубку. Звонок. Поднимаю трубку. Тот же голос, но совершенно взбесившийся. Кладу трубку. Звонок — поднимаю трубку, тот же голос:

— Кто говорит? — И тот же, только еще более квалифицированный и многовариантный мат.

Отвечаю:

— Лейтенант Рабичев, прибыл из резерва в распоряжение начальника связи армии.

— Лейтенант Рабичев? Десять суток ареста, доложить начальнику связи! — И вешает трубку.

Входит майор. Я докладываю:

— Лейтенант Рабичев... и далее — о мате в телефонной трубке, о десяти сутках.

Майор смеется:

— Вам не повезло. Звонил генерал, начальник штаба армии, а вы вешали трубку. Ладно, обойдется, капитан Молдаванов будет через два часа, а пока есть дело. Необходимо привезти карты из топографического отдела армии, вот доверенность.

Он вписывает в готовый бланк доверенности мою фамилию и объясняет, что у третьего блиндажа слева стоит лошадь, чтобы я верхом доехал до деревни Семеново. Дорога прямая, на пути незамерзающая речка и деревня. Туда — назад, как раз к приходу Молдаванова.

— Есть!

Прячу доверенность в планшетку. Иду налево, первый, второй, третий блиндаж. Смотрю — к обесточенному столбу привязана лошадь, на спине вместо седла подушка, перевязана веревкой. Изумление и недоумение.

Я москвич, никогда верхом не ездил, в училище тоже не научили. Лошадь, а ни седла, ни шпор нет. Попробовал, ухватившись за подушку, подтянуться на руках, подушка поползла вниз, ничего не вышло. Тут увидел на поляне пень. Отвязал от столба уздечку, одной ногой на пень, двумя руками за гриву и оказался на подушке. Натянул уздечку — лошадь пошла, стукнул каблуками по ребрам — побежала рысью. Каждую секунду меня подбрасывает, никак не могу приспособиться к ритму, то и дело, чтобы не упасть, вцепляюсь в гриву, обнимаю шею лошади, невольно перетягиваю уздечку то вправо, то влево. Лошадь вращает головой, останавливается, с тоской смотрит на меня.

Минут через двадцать начинает болеть все между ногами, и я меняю положение, свешиваю ноги в одну сторону, то есть то направо, то налево, верчусь и никак не могу найти оптимального положения.

Дорога упирается в речку. Это брод. Чтобы вода не затекла в сапоги, приходится задирать ноги. Чудом сохраняю равновесие и оказываюсь на другом берегу. Мимо заборов и калиток проезжаю через деревню, занятую какой-то воинской частью. Последний километр иду пешком, лошадь веду за собой.

Картографический отдел в тылу, в сохранившейся избе. Привязываю уздечку к забору. Получаю карты. Это довольно тяжелый рулон, килограммов пять. Не догадавшись попросить, чтобы мне перевязали его, держу под мышкой.

Одной ногой на слегу забора, другую перекидываю. Я на лошади. Терплю боль и неудобства. Еду. Вдруг небо затягивает облаками, гром, молния — и ураганный порыв ветра чуть не сбрасывает меня. Двумя руками вцепляюсь в гриву, и рулон падает на землю. От удара лопаются оберточная бумага, ветер подхватывает карты, и некоторые из них уже, как птицы, кружатся в воздухе.

Я спрыгиваю с лошади, с трудом едва успеваю прижать к покрытой снегом земле более половины карт. К сча-

стью, рядом оказывается камень, придавливаю камнем, вслед за ветром ловлю, подбираю и, в конце концов, собираю все разлетевшиеся карты. Оглядываюсь. Лошади нет. Пока я гонялся за своими птицами, она убежала.

Снимаю гимнастерку, заворачиваю в нее карты и в подавленном настроении пешком тащусь по направлению к штабу.

Деревня. У последнего дома к забору привязана моя лошадь с подушкой. Кто-то из солдат или офицеров части, расположенной в деревне, сумел остановить ее.

Я счастлив. Кажется, мне удастся выполнить мое первое армейское задание.

Опираясь на забор, залезаю на подушку, переезжаю вброд через речку, привязываю лошадь к столбу, надеваю гимнастерку, ремень и портупею.

Докладаваю о выполнении задания.

Два часа командующий артиллерией армии, заместитель его по противовоздушной обороне подполковник Степанцов и заместитель начальника связи армии капитан Молдаванов думали, что с нами делать. Приказ командующего фронта об образовании при штабе армии отдельной 100-й роты ВНОС они уже получили, но каково ее будет назначение, как она будет организована в условиях первого эшелона армии, не знали. Решение было принято условно. В мое и Олега распоряжение передавалось около ста пятидесяти резервистов: пехотинцев, связистов, артиллеристов, бывших лагерников. Половина поступивших из госпиталей после ранения, половина добровольцев и бывших штрафников из резерва фронта.

В течение месяца мы должны были обучить их всему, чему сами научились в своем Бирском военном училище.

Вечером из госпиталя после ранений прибыли командир роты Рожицкий и интендант — старший лейтенант Щербаков.

О задачах службы ВНОС в армейских условиях они понятия не имели и целиком положились на меня и Олега Корнева.

Штаб роты, состоявший из командира, его ординарца, взвода управления, интенданта, писаря, радиостанции РСБ в машине с тремя радистами, двух верховых лошадей, гужевого транспорта, состоящего из нескольких телег с лошадьми и солдат при них, парикмахера, портного, а также трех или четырех полторок с шоферами, повара, временно обосновался в пустой тыловой деревне Сергиевское.

Уже со следующего дня начали прибывать команды солдат. Через три дня рота была укомплектована, и мы начали проводить учебные занятия.

Через месяц рота должна была быть приведена в боевое состояние и приступить к боевым действиям.

Прибыли три офицера: кандидат технических наук старший лейтенант Алексей Тарасов, артиллерист — старший лейтенант Грязютин и связист — лейтенант Кайдриков. Они присутствовали на всех наших занятиях и приобретали новую профессию наряду с солдатами. Каждый взвод теперь состоял из шести постов связи и наблюдения, которые должны были быть расположены на переправах и господствующих высотах.

Армия по фронту занимала восемнадцать—двадцать километров и в глубину располагалась на площади от одного до двадцати километров. Под нашим наблюдением, таким образом, должна была оказаться вся территория армии со всеми приданными к ней частями. Мы должны были создать свою параллельную систему связи со штабами корпусов, дивизий, аэродромов, отдельных артиллерийских бригад, зенитных подразделений и всех армейских узлов связи.

26 декабря в 16.00 капитан Молдаванов приказал мне в течение сорока восьми часов проложить сорок километров телефонного кабеля и организовать на высотах в районе деревень Калганово, Каськово, Чунегово шесть постов наблюдения и связи.

Между тем, как я уже писал, только месяц назад получил в свое распоряжение из резерва армии сорок восемь пехотинцев.

Двадцать два из них в резерв после очередных ранений, человек восемь в составе кадровых частей пережили и финскую войну, и отступление 1941 года, имели в прошлом по два-три ранения и были награждены медалями, трем было присвоено звание сержантов, а двум — Корнилову и Полянскому — звание старших сержантов.

А двадцать шесть еще вообще пороха не нюхали, попали в резерв из тюрем и лагерей — одни за хулиганство и поножовщину, другие за мелкое воровство. Приговорены они были к небольшим срокам заключения, по месту заключения подавали рапорты, что хотят кровью и подвигами искупить свою вину.

Все они были еще очень молодые, по восемнадцать—двадцать лет, и действительно, на войне, пока она шла на территории страны, пока не начались трофейные кампании 1945 года, пока в Восточной Пруссии не столкнулись с вражеским гражданским населением, оказались наиболее храбрыми, способными на неординарные решения бойцами. Однако были среди них и хвастуны, и люди бесчестные и трусливые, но то подлинное чувство локтя и солдатской взаимопомощи, уверенность в конечной победе, то чувство патриотизма, которое в 1943 году царило в армии, заставляло их скрывать свои недостатки, не хотели, да и, вероятно, не могли они быть не такими, как все их товарищи.

Тоталитарное государство, люди-винтики, «совки» — осознание всего этого пришло ко мне значительно позднее.

Тогда же — и это очень важно для понимания тех отдельных коллизий войны, которые я в виде исповеди написал спустя шестьдесят лет, — тогда я, невзирая на различие образования, семейного воспитания и духов-

ного опыта, воспринимал их как своих друзей и в какой-то мере как офицер — как своих детей. В процессе обучения старался передать им все, что знал, читал им вечерами стихи Пушкина, Пастернака, Блока, Библию и драмы Шекспира, и лучших, более восприимчивых слушателей, у меня в жизни не было.

Двадцать четыре дня по восемь часов в сутки я обучал их всему тому, чему сам научился в военном училище: телефонии, наведению линий связи, способам устранения обрывов кабеля, устройству телефонных аппаратов и полевых радиостанций, авиации. Но и строевой подготовке, и овладению оружием, винтовками и автоматами, и стрельбой из них по целям. И гранатами меня снабдили, и кидали мы их из укрытия — обыкновенные, с ручками, и лимонки, и трофейные немецкие гранаты. И трофейные немецкие автоматы были у нас, учил их ползать по-пластунски, и уставами мы занимались, и знакомством с немецкими самолетами, и распознаванию их типов по звуку их моторов, и работе на полевых радиостанциях. Обучению новичков, безусловно, помогали мне опытные мои сержанты. Одним словом, за двадцать четыре дня, с большим или меньшим успехом, превратил я бывших пехотинцев, минометчиков и лагерников в связистов. Почти всему они научились, и наступил день, когда получили мы винтовки, автоматы, патроны, гранаты и шесть лошадей с подводами. Но на армейских складах почему-то не оказалось ни необходимых нам пятидесяти километров кабеля, ни зуммерных, ни индукторных телефонных аппаратов. (Думаю, что в конце 1942 и начале 1943 года дефицит кабеля в ротах, батальонах, полках, дивизиях объяснялся, как и многое другое, невосполненными еще потерями кошмарного отступления наших армий в 1941 году. Уже к середине 1943 года ни с чем подобным я, как правило, не сталкивался.) Должны были нам прислать и кабель, и аппараты, и радиостанции. Обещали, но, когда это произойдет, никто не знал.

Именно поэтому приказ капитана Молдаванова 26 декабря 1942 года чрезвычайно удивил меня.

— Товарищ капитан, — сказал я ему, — я не могу через сорок восемь часов проложить сорок километров телефонного кабеля. У меня нет ни одного метра и ни одного телефонного аппарата.

— Лейтенант Рабичев, вы получили приказ, выполняйте его, доложите о выполнении через сорок восемь часов.

— Но, товарищ капитан...

— Лейтенант Рабичев, кругом марш!

И я вышел из блиндажа начальника связи и верхом добрался до деревни, где в тылу временно был расквартирован мой взвод...

В состоянии полного обалдения рассказал я своим сержантам и солдатам о невыполнимом этом приказе. К удивлению моему, волнение и тоска, охватившие меня, не только никакого впечатления на них не произвели, но, наоборот, невероятно развеселили их.

— Лейтенант, доставайте телефонные аппараты, кабель через два часа будет!

— Откуда? Где вы его возьмете?

— Лейтенант, б..., все так делают, это же обычная история, в ста метрах от нас проходит дивизионная линия, вдоль шоссе протянуты линии нескольких десятков армейских соединений. Срежем по полтора-два километра каждой, направляйте человек пять в тыл, там целая сеть линий второго эшелона, там можно по три-четыре километра срезать. До утра никто не спохватится, а мы за это время выполним свою задачу.

— Это что, вы предлагаете разрушить всю систему армейской связи? На преступление не пойду, какие еще есть выходы?

Сержанты мои матерятся и скисают.

— Есть еще выход, — говорит радист Хабибуллин, — но он опасный: вдоль и поперек нейтральной поло-

сы имеются и наши, и немецкие бездействующие линии. Но полоса узкая, фрицы стреляют, заметят, так и пулеметы и минометы заработают, назад можно не вернуться.

— В шесть утра пойдём на нейтральную полосу, я иду, кто со мной?

Мрачные лица. Никому не хочется попадать под минометный, автоматный, пулеметный обстрел. Смотрю на самого интеллигентного своего старшего сержанта Чистякова.

— Пойдешь?

— Если прикажете, пойду, но, если немцы нас заметят и начнут стрелять, вернусь.

— Я тоже пойду, — говорит Кабир Талибович Хабибуллин.

Итак, я, Чистяков, Хабибуллин, мой ординарец Гришечкин.

Все.

В шесть утра, по согласованию с пехотинцами переднего края, выползаем на нейтральную полосу. Попластунски, вжимаясь в землю, обливаясь потом, ползем, наматываем на катушки метров триста кабеля.

Мы отползли от наших пехотинцев уже метров на сто, когда немцы нас заметили.

Заработали немецкие минометы. Чистяков схватил меня за рукав.

— Назад! — кричит он охрипшим от волнения голосом.

— А кабель?

— Ты спятил с ума, лейтенант, немедленно назад.

Смотрю на испуганные глаза Гришечкина, и мне самому становится страшно.

К счастью, пехотинцы с наблюдательного поста связались с нашими артиллеристами, и те открывают шквальный огонь по немецким окопам.

Грязные, с трехстами метрами кабеля, доползаем мы до нашего переднего края, задыхаясь, переваливаем-

ся через бруствер и падаем на дно окопа. Слава богу — живые. Все матерятся и расстроены. Чистяков с ненавистью смотрит на меня. Через полтора часа я приказываю Корнилову срезать линии соседей, а сам направляюсь на дивизионный узел связи и знакомлюсь с его начальником — братом знаменитого композитора, старшим лейтенантом Покрассом.

Мы выясняем, кто где живет в Москве. Я рассказываю ему об Осипе Брике, а он наизусть прочитывает что-то из «Возмездия» Блока. Говорим, говорим. Через час он одалживает мне пять телефонных аппаратов. Ночью мы прокладываем из преступно уворованного нами кабеля все запланированные линии, и утром я докладываю капитану Молдаванову о выполнении задания.

— Молодец, лейтенант, — говорит он.

— Служу Советскому Союзу, — отвечаю я.

Молдаванов прекрасно знает механику прокладки новых линий в его хозяйстве. Общая сумма километров не уменьшилась. Завтра соседи, дабы восстановить нарушенную связь, отрежут меня от штаба армии.

Послезавтра окажется без связи зенитно-артиллерийская бригада. Я больше не волнуюсь. Игра «беспригрышная»: слава богу, связисты мои набираются опыта. Декабрь 1942 года.

Письмо от 11 февраля 1943 года

«Я команду взводом. Бойцы мои в два, а то и в три раза старше меня. Это замечательные, бесконечно работающие, трудолюбивые, добросовестные и очень веселые люди. Любая трудность и опасность превращается ими в шутку.

После года военного училища я полностью включился в боевую работу, каждый новый день воспринимается мной как большой праздник, самое радостное то, что фрицы бегут.

Нет бумаги, нет книг, и я не читаю и не пишу. Впрочем, это не совсем так.

Нашел в пустой избе Евангелие и по вечерам при свете горячей гильзы читаю своим бойцам. Слушают внимательно».

В декабре 1942 года на высоте близ деревни Каськово, кажется, километрах в четырех от переднего края, одновременно с выполнением приказа капитана Молдаванова, связисты мои строили три блиндажа. Один — большой, для отделения сержанта Демиденко, другой — командный, с двумя телефонными аппаратами для меня и моего ординарца Гришечкина. Третий — для моей лошади.

Руководили не простой и удивительной для меня этой работой два моих сержанта и два солдата, бывших на гражданке профессиональными плотниками. Впрочем, около половины солдат моих, бывших колхозников, орудовали топорами и пилами не хуже городских профессионалов. Забыл написать, что одновременно с получением недостающего обмундирования, автоматов, патронов, гранат, саперных лопат, противогазов, касок, шести переносных радиостанций, осветительных гильз от снарядов, бензина, сухого пайка на неделю выдали мне на взвод несколько двуручных пил и напильников, ломов, молотков, клещей и стамесок, огромных ножниц и других инструментов, несколько килограммов гвоздей, а также несколько пустых железных бочек и жестяных труб.

Мороз был градусов пятнадцать, толщина снежного покрова — около метра. Грунт под снегом промерз на полметра. Расчистили снег, пробили слой замерзшего грунта, выкопали квадратные, глубиной метра два, комнатки с земляными нарами и столами, с земляными ступеньками лестниц.

Срубили в лесу несколько сосен, очистили от коры, распилили на бревна. Временами вокруг падали случай-

ные снаряды. Покрыли блиндажи тремя накатами бревен, оргалитом, сверху набросали ветки от срубленных деревьев. Земляные нары и столы покрыли плащ-палатками. Железные бочки, прорубая в них квадратные отверстия, превратили в печки, нары покрыли сосновыми и еловыми ветками.

Глубокие гноящиеся язвы на ногах не позволяли мне ходить. Гришечкин на руках внес меня в мой блиндаж и положил на нары. Шел снег.

После окончания всех работ лошадь завели в предназначенный для нее блиндаж.

В деревне Каськово жителей не было, вероятно, немцы угнали их в Германию, но оставалось несколько пустых изб.

Из найденных досок, столов и скамеек для трех блиндажей изготовили и подвесили три двери со стеклянными окошками. Затопили печки, начали готовить обед. Было уже темно.

Гришечкин сварил котелок манной каши с яичным порошком, который выдали нам на неделю вместо масла, и котелок с супом из свиной тушенки и сухого картофеля.

Было, вероятно, часов девять вечера, когда кто-то постучал в окно моего блиндажа.

2 февраля 1943 года

«... Чем дальше продвигаются наши войска, тем больше фрицев сдаются в плен. Много работаю, а в свободное время читаю, но единственная книга, которую мне удалось достать, — Евангелие. Чего доброго, скоро стану богословом.

Олега вижу редко. Нас теперь разделяет пара десятков километров.

Как я питаюсь? Получаю так называемый сухой паек: хлеб (ржаные сухари), крупу, сахар, концентраты (жиры и мясо), перец и горчицу».

1 марта 1943 года

«Последние дни было очень много работы. Спать приходилось сидя в дороге, ну, это даже приятнее. Погода установилась теплая — к весне...

Сейчас нахожусь в одной из деревень, уничтоженных немцами. От деревни остались одни только ямы...»

13 марта 1943 года

«Дорогие мои! Вероятно, мое письмо не скоро дойдет до вас. Да и времени для писания писем теперь не много. Фриц бежит, и бежит так, что наши части не могут догнать его... Я был в десятках деревень, освобожденных от оккупации, разговаривал с сотнями людей, не имеющих человеческого облика. В день мы продвигаемся километров на 30... За последние шесть дней пришлось мне кое на что насмотреться. Уходя, немцы заминировали дороги и села. Приходится двигаться с опаской.

Вчера проезжал по району, где происходили большие танковые бои.

Бесконечное поле.

Нагромождение танков — сгоревших, подбитых, столкнувшихся. Нагромождение тел. По обочинам дорог лежат взорванные фрицы: головы, ноги, руки. Их не успели убрать.

На десятки километров раскинулись скелеты деревень. Некоторые избы еще дымятся.

В свои деревни (из окружающих лесов) возвращается мирное население. Из-под обломков зданий вырывают вещи, припрятанные от немцев. Здесь немцы обманывали людей, говорили, что русские не придут. Некоторые верили им.

На паспортах русских девушек ставили отметки: рост средний, волосы русые, упитанность средняя, глаза черные. Каждый русский имел свой номер. Номерки носились на груди...

Уходя, немцы ломали печи в домах. Они собирали столы, сундуки, плуги, вазы, взрывали, ломали и сжигали их. Били чугуны и минировали постройки.

Они хотели угнать с собой население. Люди попрятались в лесах. Несколько дней жили в окопах, а теперь вернулись... Многие не нашли своих жилищ.

Красную армию встречают хорошо. Каждая хозяйка старается первой рассказать о своих бедах. Все, что осталось целым, ставят на стол: хлеб, картошку, конину. Полтора года питались кониной. Кур, свиней съели немцы, коров угнали.

Немцы боялись холода. Для своих офицеров изобрели эрзац-валенки — целые соломенные бочки. Эрзац-валенки десятками валяются на дорогах. Над ними можно смеяться, но носить их нельзя.

Теперь немцы бегут так, что не успевают поджигать деревень. Бегут так, что наши интенданты не успевают подвозить продовольствие для наших частей. Мы двигаемся вперед днем и ночью. Чтобы не отстать, спать приходится три-четыре часа в сутки. Ну, да и спать нет охоты...»

16 марта 1943 года (письмо родителям)

«Хочу написать пару слов о том, что я видел собственными глазами и что слышал от очевидцев. Я иду по следам немцев. Следы еще не зажили. Они хозяйничали здесь полтора года. Они не наступали и не отступали. Они навели порядок в деревнях, грабили население в городках, вешали людей. Они говорили: «Зимой руки отмерзают, а летом комары кусают, поэтому «никс» наступать». Они говорили, что высшая раса нуждается в повышенном питании.

Они изобрели себе развлечение, какой ариец во время еды громче перднет.

Мальчики дразнили фрицев:

*Немцы зиму пропердели —
Москву проглядели.
Еще зиму пропердят —
И Берлин проглядят!*

Когда неразумный ребенок ударяется обо что-нибудь, он начинает бить вещи, когда у колбасников подгорала колбаса, они ломали печи. В Калининской области не осталось ни одной целой русской печи. Уходя, фрицы озверели. Сначала они жгли дома и увозили скот. В последние дни они начали сжигать население. Мальчику, который хотел убежать от них, они отрезали нос и уши.

Сегодня наши войска заняли село, где немцы сожгли все гражданское население. Наши двигаются вперед. Они выхватывают из рук палачей обескровленных живых людей».

28 марта 1943 года

«...Уже шесть дней живу оседлой жизнью, то есть по утрам умываюсь и вытираюсь, а по вечерам хожу на смоленские «вечерки». Здесь девки танцуют «страдание» и поют «завлекательные» частушки».

29 марта 1943 года

«...Когда немцы уходили, они говорили русским девушкам: «Каждая из вас должна иметь ребенка, если вы не будете иметь ребенка, русские у вас отнимут хлеб и картошку».

Девушки хоронились по лесам, прятались в заброшенных блиндажах, а когда пришли русские, начали понемногу расправлять крылья. Только вот гармошек не хватает по деревням и гармонистов мало.

Каждый немец имел губную гармошку и зажигалку. Им очень нравились русские трехрядки. Они увозили их на запад вместе с «нумерованными цивилистами» (так немцы называли русское население). Юноши и девушки убежали от них, но гармошек по деревням уже не осталось...

Между прочим, я теперь много рисую. Рисую девушек и девочек, стариков и малышей. Это сразу располагает в мою пользу местных жителей.

Будьте здоровы, Леня».

31 марта 1943 года

«...Переходы я все-таки переношу не легко. Однако от своей болезни — фурункулов — я избавился совершенно и считаю, что лучше ходить по сорок километров в день, чем лежать с этой пакостью. Должен сказать, что войну нам приходится вести не только с фрицами, но и со вшами. Эти паразиты заползают во все щели, и при походных условиях жизни спасения от них буквально нет...»

Дверь открылась, и в блиндаж вошел незнакомый капитан. Объяснил, что ехал в свою часть на лыжах, но потерял заметенную снегом дорогу, заблудился и попросил у меня разрешения переночевать. Я же, после того как мы познакомились, пригласил его разделить с нами наш ужин, а он извлек из рюкзака флягу со спиртом.

Выпили за победу. Оба оказались москвичами. Я рассказал ему о своем правительственном доме на Покровском бульваре, он рассказал о своем на Палихе, я — о своем замечательном кружке в Доме пионеров, об увлечении историей и поэзией, о матери, члене КПСС с 1925 года, об отце, награжденном только что орденом «Знак почета» за участие в открытии новых нефтепромыслов и спасении старых, о брате-танкисте, погибшем полгода назад под Сталинградом. Он наполнил опустевшие кружки и предложил мне выпить за моих и его родителей.

Потом мы говорили о книгах, о Пушкине, Шекспире и Маяковском, и незаметно перешли на «ты». Потом усталость взяла верх, и мы заснули.

А утром капитан Павлов вынул из кармана свое красное удостоверение и сказал, что посетил меня не случайно, а по заданию руководства Смерша, что из вчерашнего разговора он понял, что я советский человек, комсомолец, но что я совершил ошибку, читал своим бойцам Евангелие, и по секрету рекомендовал мне опасаться моего сержанта Чистякова, который написал

в Смерш, что я в своем взводе веду религиозную пропаганду, и предложил мне немедленно бросить в огонь найденную мной в пустой избе книгу, а он, в свою очередь, бросил туда донос Чистякова, что мне повезло, что бумага эта попала в его руки, а не в руки его коллег. Пришлось мне впоследствии читать моим бойцам журналы «Знамя», стихи Пастернака и Блока, «Ромео и Джульетту» Шекспира. Спасибо тебе, капитан Павлов!

В подземном своем блиндаже, / спасаясь от вспышек лиловых / на нарах из веток еловых / с людьми, коих нету уже, / наполнив крутым кипятком / покрытую копотью кружку, / под черным осенним снежком, / под настом сверкающим белым, / под яркой звездой голубой, / под тайным смертельным прицелом, / всей жадной души высотой, / всем смерть отрицающим делом, / всем в землю вмерзающим телом — / мечтаю о встрече с тобой.

В феврале 1943 года я по топографической карте выбрал наикратчайшую дорогу от своего западного полутылового поста до штаба армии. Меня вызывал Рожицкий на предмет консультации о передислокации одного из постов в связи с готовящимся началом весеннего наступления.

Лесная проселочная дорога была накатана, неожиданно лес кончился, и перед нами оказалась сожженная деревня, а из трубы одной из землянок шел дым.

Мы с Гришечкиным замерзли, решили в этой землянке отогреться, а если обстоятельства позволят, позавтракать. Пять ступенек вниз, дверь, застекленная форточка. В землянке жарко. Бочка, стол, скамейка, нары. Женщина, девушка и девочка радостно потеснились.

Гришечкин вытащил банку комбижира, крупу, хлеб и занялся приготовлением супа на всех, а я разговорился с девушкой. Оказалась она москвичкой. Работала до войны на телефонной станции.

Говорю ей, что я армейский связист, а я, говорит она, окончила техникум связи и все телефонные аппараты знаю и на коммутаторе работала, возьмите меня с собой, говорит, я воевать хочу с фрицами...

— В мае 1941 года приехала в деревню к бабушке, потом шесть месяцев скрывалась в лесу, землянку вырыла. Столько всего было. В двух километрах от нас шли танковые бои, бойцы занесли ко мне раненого лейтенанта, но выходить его я не сумела, и он умер у меня на руках... Возьмите меня, лейтенант, с собой!

Красивая, смелая, сильная, профессиональная телефонистка.

— Садись, — говорю, — на телегу, через два часа я тебя завезу к начальнику связи армии.

Лес кончился, и передо мною открылась жуткая картина. Огромное пространство до горизонта было заполнено нашими и немецкими танками, а между танками тысячи стоящих, сидящих, ползущих заживо замерзших наших и немецких солдат. Одни, прислонившись друг к другу, другие — обнявши друг друга, опирающиеся на винтовки, с автоматами в руках.

У многих были отрезаны ноги. Это наши пехотинцы, не в силах снять с ледяных ног фрицев новые сапоги, отрубали ноги, чтобы потом в блиндажах разогреть их и вытащить и вместо своих ботинок с обмотками надеть новые трофейные сапоги.

Гришечкин залез в карманы замороженных фрицев и добыл две зажигалки и несколько пачек сигарет, девушка равнодушно смотрела на то, что уже видела десятки раз, а на меня напал ужас. Танки налезали друг на друга, столкнувшись друг с другом, поднимались на дыбы, а люди, вероятно и наши и вражеские, все погибли, а раненые замерзли.

И почему-то никто их не хоронил, никто к ним не подходил. Видимо, фронт ушел вперед и про них — сидящих, стоящих до горизонта и за горизонтом — забыли.

Через два часа мы были в штабе армии. Девушку я завел к связистам, а сам занялся разрешением своих проблем. Вечером увидел ее в блиндаже одного из старших офицеров, спустившего штаны подполковника.

Утром увидел девушку в блиндаже начальника политотдела.

Больше девушки я не видел.

Ночевал я в гостевом блиндаже. Интендант Щербаков издевался надо мной. Смешна ему была моя наивность.

— Может, она и попадет на фронт, — говорил он, — если духу у нее хватит переспать с капитанами и полковниками из Смерша. Была год на оккупированной территории.

Без проверки в Смерше в армию не попадет, а проверка только началась. А мне страшна была моя наивность.

Чувство стыда сжигало меня и спустя шестьдесят лет сжигает.

У меня во взводе был нерадивый боец Чебушев. У всех были сапоги — у него ботинки с обмотками. Шнурки на ботинках распущены, из-под обмоток торчали штрипки кальсон, которые почему-то сами собой на ходу разматывались. Пояс без тренчиков, шинель без хлястика. Ни одного приказа не выполнял сразу, обязательно задавал вопросы. Зачем? Для чего? Все начеку, а он — для чего? Куда? Зачем?

Спустя лет двадцать я понял, что, в сущности, он был интеллигентом, а тогда он мне казался симулянтом. Ни приказы, ни уговоры на него не действовали. В один из вечеров марта 1943 года он вдруг заявил, что ничего вокруг себя не видит, ослеп. Все решили, что он, как всегда, симулирует. Но на следующий вечер зрение потеряли двенадцать из сорока моих бойцов. Это была военная, весенняя, вечерняя болезнь — куриная слепота.

На следующий день произошла катастрофа. Слепело около одной трети армии. Чтобы восстановить зрение, достаточно было съесть кусок печени вороны, зайца, убитой и разлагающейся лошади.

В начале марта было несколько теплых дней, и вдруг — десять градусов мороза. До моего южного передового поста надо было по большаку, проложенному приблизительно в километре от переднего края и от берега еще покрытой льдом реки Вазузы, пройти километров двенадцать.

Думал, подъеду на пустой полуторке, стоял, голосовал, а они одна за другой проносились мимо меня, и ни одна не останавливалась, и я, в сапогах, чтобы не замерзнуть, то шел, то бежал, а потом попал под минометный обстрел и лег.

Минут пятнадцать мины в шахматном порядке взрывались вокруг меня.

Обстрел был не прицельный, а плановый, и я не очень волновался.

Потом, часа через три, я добрался до своего поста, убедился, что все нормально, только блиндаж крошечный, на нарах все спят впритирку.

А старший сержант Полянский говорит:

— Иди, лейтенант, на армейский узел связи, до них метров пятьсот, расположились они в единственной нескоревшей огромной избе, места сколько угодно.

Было часов семь вечера. Армейские телефонистки приветствовали меня. Я сел на скамейку и вдруг увидел на окне томик стихов Александра Блока, и только начал читать, подходит ко мне юная, жутко красивая телефонистка и кладет руку на плечо.

— Что, нравится, — говорит, — мой Блок?

А я тогда почти все стихи Блока наизусть помнил и начал по памяти читать «Возмездие», а потом про свой

довоенный кружок и про Осипа, и про Лилю Брик, а она про свой филфак, и я уже не думал, а знал, что это любовь с первого взгляда. Не помню, как это произошло. Я обнимал ее, она меня. Мне казалось, я знаю ее тысячу лет.

Мы целовались, а в углу смотрели на нас и посмеивались два телефониста.

— Здесь неудобно, — сказала она, — надень шинель, выйдем из дома.

Вот и все, и так просто, думал я.

Не разнимая рук, мы шли по двору бывшей хлебопекарни. Слева был полузатопленный немецкий блиндаж, а нары были сухие, покрыты еловыми ветками.

— Зайдем? — спросила она шепотом, и губы ее дрожали, а у меня кровь прилила к вискам и ноги дрожали, и почему-то я показал пальцем на другой блиндаж напротив, и вдруг увидел свой блиндаж, Полянского, и оживился, и говорю:

— Никуда эти блиндажи от нас не убегут, посмотри на моих солдат.

Полянский вытащил флягу со спиртом, и все мы выпили за нее, за Ольгу, а она говорит:

— Лейтенант! Мне уже пора на дежурство, пошли.

А мой ефрейтор Агафонов говорит:

— Товарищ лейтенант, не беспокойся, я ее провожу.

Сердце мое окаменело, и сам я окаменел, а она встала и не посмотрела на меня.

Через десять минут я вышел из блиндажа, пошел на узел связи, но ее там не было. Пришла она через час, на меня не посмотрела и легла на нары.

Утром на мое приветствие она не ответила.

Я вышел и, не прощаясь, по большаку, не реагируя на минометный обстрел, возвращался в штаб армии. Почему у всех так просто, а у меня трагедия? Довоенная Люба Ларионова, бирская девочка Таня, студентка Ольга, а что впереди?

Забывтое письмо от 17 декабря 1942 года

«Нахожусь недалеко от передовой, пока во взводе у меня тридцать солдат. Из тридцати — двадцать девять судились за кражи, мелкое хулиганство, поножовщину. Ребята — огонь!

Недавно заговорил с одним из них:

— Ты, Мусатов, в театре был когда-нибудь?

— А ты что, был?

— Ну конечно.

— Так туда же не пускают простых...

— То есть как не пускают, почему?

— Ну, там царь, благородные...

— Да ты откуда, — говорю, — с неба, что ли, свалился?»

Из письма от 2 февраля 1943 года

«...Получаю сухой паек: сухари, крупу, сахар, концентраты, мясные консервы, перец и горчицу, и офицерский дополнительный паек: масло, консервы, папиросы. Варю на завтрак кашу, на обед суп и на ужин суп. Для лошади — овес, сено, соль».

Из письма от 28 февраля 1943 года

«У меня есть валенки, меховая куртка и меховые варежки, ватные брюки, а фрицы мерзнут и голодают в сырых блиндажах. Еще немного, и они побегут!»

Из письма от 14 марта 1943 года

«Наконец и на нашем фронте немцы побежали. Приходится догонять их, а догонять очень трудно. Ночью во круг до горизонта стоит зарево, это горят сжигаемые ими деревни. В районе, где я нахожусь, деревень не осталось, только на бывших границах стоят указатели с их названиями, а все поля перерыты: воронки, окопы, блиндажи...»

Деревня Новое Дугино.

Утром наши войска, как раз напротив бывшего хлебо-завода, напротив двух полузатопленных немецких блин-

дажей, и той удивительной Ольги, и моей трагической, но скорее истерически-патологической нерешительности, после внезапной артподготовки и запланированной и бесконечной авиабомбежки, прорвали несколько линий немецкой обороны.

И началось весеннее наступление.

Я поднял по тревоге свой взвод, прошел по разминированному шоссе километров двадцать. За шоссе, напротив верстового столба, торчали трубы от сожженной немцами деревни. В деревне обнаружил несколько пустых землянок. Оставил в них своих утомившихся солдат, а сам на попутной, к счастью, остановившейся машине поехал догонять штаб армии.

Километров через сорок остановил полуторку, узнал, что штаб армии расположился за деревней Новое Дугино и что туда можно пройти по пересекающей овраг проселочной дороге.

Было уже часа три дня. Я пошел по дороге, начал спускаться в окруженный кустами овраг, и шагов через десять около моего уха просвистела пуля.

Я нагнулся и побежал. Новая пуля едва не задела руку.

Я стремительно бросился в наполненную грязью придорожную канаву, пули свистели над моей головой, а я полз по-пластунски. Через пятьдесят метров дорога повернула и начался подъем.

Прополз еще метров десять и встал на ноги.

Я уже не находился в поле зрения стрелявших, поворот дороги и кусты прикрыли меня.

Я вынул из кобуры наган и что было сил побежал.

Выстрелов больше не было.

На обочине дороги лежал мертвый мальчик с отрезанным носом и ушами, а в расположенной метрах в трехстах деревне вокруг трех машин толпились наши генералы и офицеры. Справа от дороги догорал колхозный хлев. Происходящее потрясло меня.

Генералы и офицеры приехали из штаба фронта и составляли протокол о преступлении немецких оккупан-

тов. Отступая, немцы согнали всех стариков, старух, девушек и детей, заперли в хлеву, облили сарай бензином и подожгли.

Сгорело все население деревни.

Я стоял на дороге, видел, как солдаты выносили из дымящейся кучи черных бревен и пепла обгорелые трупы детей, девушек, стариков, и в голове вертелась фраза: «Смерть немецким оккупантам!»

Как они могли? Это же не люди! Мы победим, обязательно найдем их. Они не должны жить.

А вокруг, на всем нашем пути, на фоне черных журавлей колодцев маячили белые трубы сожженных сел и городов. И каждый вечер связисты мои обсуждали, как они будут после победы мстить фрицам. И я воспринимал это как должное. Суд, расстрел, виселица — все, что угодно, кроме того, что на самом деле произошло в Восточной Пруссии спустя полтора года.

Ни в сознании, ни в подсознании тех людей, с которыми я воевал, которых любил в 1943 году, того, что будет в 1945 году, не присутствовало.

Так почему и откуда оно возникло?

Я стоял напротив дымящегося пепелища, смотрел на жуткую картину, а на дорогу выходили женщины и девушки, которые смогли убежать и укрыться в окрестных лесах, и вот мысль, которая застряла во мне навсегда: какие они красивые!

Мы шли по Минскому шоссе на запад, а по обочинам шли на восток, домой освобожденные наши люди, и мое сердце трепетало от радости, от новой мысли — в какой красивой стране я живу, и мой оптимистический, книжный, лозунговый патриотизм органически все более и более становился главным веществом моей жизни. К несчастью, я не понимал тогда, что войн без зверств не бывает, забыл о пытках невинных людей в застенках Лубянки и ГУЛАГа.

Глава 5

НАСТУПЛЕНИЕ В ГРЯЗИ

...Два случая, два казуса войны. / Мы были безнадежно влюблены. / Проклятая бомбежка — миг и вечность. / Сычевка, Ржев, деревня Бодуны. / Ты о Москве? А я о блиндаже. / Ты о работе? Я о мираже. / Ты плакала? Спасибо за сердечность!

Через Сычевку, а потом по проселочным дорогам я должен был вывести свой взвод на Минское шоссе. Было вокруг еще много снега, хотя он быстро таял.

На свою единственную телегу я погрузил рацию, телефонные аппараты, на катушках — километров сорок кабеля. Шинели скатали, припекало, трижды на просохших холмиках я останавливал взвод на отдых.

Ложились на еще прохладную, но оживающую землю, но минут через десять вскакивали, стремительно стягивали с себя гимнастерки, рубашки, кальсоны и начинали давить насекомых. Все мы были завшивлены. Кто-то считал — 100, 150. Во всех складках одежды, в волосах были эти гады и масса белых пузырьков — гниды. Начинало темнеть, прошли около сорока километров, дорога через лес поднималась в гору. Внезапно лес кончился. Перед нами была стремительная какая-то речка, мост — две доски с перилами, за мостом на холме деревня. Лошадь распрягли, на руках перенесли телегу и груз, осторожно провели по дощечкам лошадь.

Деревня была живая, в каждом доме старухи и дети. Мой ординарец Гришечкин поставил лошадь в сарай, насыпал ей вволю овса, посолил, притащил охапку сена, а я быстро распределил людей по домам, выставил боевое охранение, лег на скамейку, завернулся в шинель и заснул, и все, кроме дежурных, заснули. В семь часов утра вышел из дома и обомлел.

Речка разлилась, превратилась в море, от мостика ничего не осталось. Мы оказались на острове со всех сто-

рон, почти до горизонта, окруженном водой. О продолжении движения не могло быть речи. Приказал всем отдыхать. У меня был томик стихов Александра Блока.

В избе на полке лежала Библия. Неграмотная старуха не была хозяйкой этого дома, ее деревню сожгли немцы.

Книга была ничья. И случилось так, одним словом, что я читал своим солдатикам про Каина и Авеля, и «Соловьиный сад», и «Песню песней».

Вода ушла на третий день. Речка уже была не морем, а маленьким ручейком. До Минского шоссе еще было километров сорок, а до переправы через Днепр, до места сбора роты, — еще километров двенадцать. И все это надо было пройти за один день. Но уже к середине дня начал отставать сержант Щербаков. Он плохо обернул ноги портянками. Водяные пузыри полопались. На ногах образовались раны. В три часа дня он сел на землю и заплакал.

Это был огромный, излишне полный мужик.

Идти дальше он не мог. Вокруг не было ни одного госпиталя. Я оставил его в пустом деревенском доме и приказал через два дня быть на переправе через Днепр. Не прошло и получаса, как мы вышли на шоссе Москва—Минск.

До переправы через Днепр оставалось двенадцать километров.

У восьми моих бойцов были натерты ноги. По шоссе шли порожние грузовики. Я остановил машину, усадил их в кузов и сержанту Демиденко приказал всех высаживать на переправе через Днепр и ждать, пока я со взводом не подойду. Через два часа я был на переправе, но ни Демиденко, ни инвалидов там не было.

На высоком берегу Днепра было много пустых немецких блиндажей.

Я оставил взвод у переправы, приказал ждать своего возвращения, а сам с ординарцем Гришечкиным перешел по понтонному мосту через Днепр.

К середине дня все дороги развезло, мы шли по раскисшей глине, каждый шаг давался с трудом, иногда сапог нельзя было вытащить, и приходилось ногу вытаскивать из сапога, потом сапог из глины, но в это время второй сапог уходил так глубоко, что уже из него приходилось вытаскивать ногу.

Каждые сто метров ложились. Казалось, что довольно легкие рюкзаки за спиной уже весили по два пуда. Разожгли костер, просушили портянки, доели сухари — остаток сухого пайка, выданного на неделю, между тем как это был уже девятый день с момента его получения...

Армия утонула в грязи и глине весны 1943 года. На каждом шагу около просевших до колес пушечек, застрявших на обочинах грузовых машин, буксующих самоходок копошились завшивленные и голодные артиллеристы и связисты. Второй эшелон со складами еды и боеприпасов отстал километров на сто.

На третий день голодного существования все обратили внимание на трупы людей и лошадей, которые погибли осенью и зимой 1942 года. Пока они лежали засыпанные снегом, были как бы законсервированы, но под горячими лучами солнца начали стремительно разлагаться. С трупов людей снимали сапоги, искали в карманах зажигалки и табак, кто-то пытался варить в котелках куски сапожной кожи. Лошадей же съедали почти целиком. Правда, сначала обрезали покрытый червями верхний слой мяса, потом перестали обращать внимание и на это.

Соли не было. Варили конину очень долго, мясо это было жестким, тухловатым и сладковатым, видимо, омерзительным, но тогда оно казалось прекрасным, невыразимо вкусным, в животе сытно урчало.

Но скоро лошадей не осталось.

Дороги стали еще более непроходимы, немецкие самолеты расстреливали в упор застрявшие машины.

Наши самолеты с воздуха разбрасывали мешки с сухарями, но кому они доставались, а кому нет.

И стояли вдоль обочин дорог бойцы и офицеры, протягивали кто часы, кто портсигар, кто трофейный нож или пистолет, готовые отдать их за два, три или четыре сухаря. Уже темнело, когда мы пришли в деревню Вадино, где временно остановился штаб нашей роты.

Капитан Рожицкий не мог понять, почему и как я потерял половину своего взвода.

Мой аргумент, что жалко было натерших мозоли на ногах людей, казался ему чудовищным, мое объяснение причины задержки — три дня в деревне, окруженной бурлящими водами, — смехотворным. Кратчайший маршрут движения, который я сам выбрал по карте, возмущал его и расценивался им как злонамеренное самоуправство.

Теперь я и сам понимал, что в сумме все мои действия были преступны и что мне не миновать суда военного трибунала, разжалования, штрафной роты.

Рожицкий тут же подписал приказ о моем смещении с должности командира взвода, о десятисуточном аресте и передал остатки моего взвода под командование моему другу, лейтенанту Олегу Корневу.

Счастье от сознания исполненного долга, любовь и уважение вверенных мне и обученных мною солдат, еще недавно придававшая мне уверенность улыбавшаяся мне фортуна, радость от того, что я, вопреки неуклюжести, интеллигентности, стал боевым офицером, — все летело к чертовой матери.

Артиллерист лейтенант Бондаренко нарисовал меня. Мне некуда и незачем было уходить, и я сидел и позировал. Я был подавлен, а он приукрасил меня, сделал из меня эдакого веселого поручика.

Дальше я не помню, что было, ходил как в тумане, выполнял какие-то мелкие поручения, ждал решения своей участи.

Совершенно не помню, как я вдруг стал командиром взвода Олега Корнева, а Олег стал командиром остатка бывшего моего взвода и взвода лейтенанта Кайдрикова, а того куда-то послали.

В общем, вопрос с трибуналом замяли, но что-то уже навсегда погибло.

Люди Олега Корнева плохо знали меня, помкомвзвода старшина Курмильцев не выполнял моих приказаний. Между тем весеннее наступление продолжалось, дороги с каждым днем становились все доступнее...

Почему-то я опять оказался на Минском шоссе в Ярцеве. Блиндаж в десяти метрах от шоссе. Я выхожу из блиндажа и вижу гражданскую девочку, студентку юридического института моего курса, из моей группы. Она с трудом узнает в хмуром лейтенанте меня. О господи! Что за превратности судьбы!

Она прибыла на легковой машине с группой корреспондентов сегодня утром из Москвы. О встрече со мной она потом расскажет в институте, и жуткая баба — декан факультета марксизма-ленинизма Мощинская, которая возненавидела меня за то, что я своими словами пытался на семинарах излагать какие-то стереотипные фразы из учебника истории партии, эта самая Мощинская, которую студенты называли не иначе как Моща и которая меня презирала за интеллигентскую неуверенность в себе, — будет крайне удивлена, и через полгода, когда я во время десятидневного отпуска в Москву зашел в институт, увидела меня, и начала трясти руку, и прослезилась, заметив на груди у меня орден Отечественной войны.

Март—апрель 1943 года

Наступление наше остановлено.

Вызывает меня Рожицкий и назначает командиром взвода управления при штабе армии. Несколько телефо-

нистов в штабе роты заменяют на прибывших из запасного полка телефонисток.

Мой новый ординарец Королев три дня копает на склоне оврага для меня блиндаж, нары — земляная ступенька, покрытая толстым слоем еловых веток, накрытых плащ-палаткой, окно — кусок стекла, земляной стол с гильзой от артиллерийского снаряда, наполненной бензином, с фитилем вместо лампочки, дверь — плащ-палатка.

Телефонисточки одна за другой влюбляются в меня, а я, дурак, считаю, что не имею права вступать с подчиненными в неформальные отношения.

Никто не знает, что я еще и робею, ведь у меня никогда еще не было женщины.

У Олега Корнева уже есть подруга.

Меня вызывает Рожицкий, спрашивает, почему я не обращаю внимания на девочек? У него их целый гарем. Он использует свое служебное положение, и девочки пугаются и становятся его любовницами.

— Хочешь, я пришлю к тебе сегодня Машу Захарову? — спрашивает он. — А Надю Петрову?

Мне стыдно признаться, что у меня никогда никого не было, и я опять вру, придумываю какую-то московскую невесту. Каждую ночь мне, с требованием прислать Веру, Машу, Иру, Лену, звонят незнакомые мне генералы из насквозь развращенного штаба армии. Я наотрез отказываю им, отказываю начальнику штаба армии, командующему артиллерией и командирам корпусов и дивизий.

Меня обкладывают матом, грозят разжалованием, штрафбатом.

Мое поведение вызывает удивление у моих непосредственных начальников, в конце концов переходящее в уважение. Меня и моих телефонисток оставляют в покое.

Девочки то и дело обращаются ко мне за помощью, и мне, как правило, удается отбить их от ненавистных им чиновных развратников-стариков. Особенно трудная история случилась с Машей Захаровой.

Она одной из первых прибыла из резерва. Окончила десять классов, отправилась на фронт защищать Родину. Девятнадцатилетняя, стройная, красивая.

В 11 часов вечера дежурный, старший сержант Корнилов, передал мне приказ начальника политотдела армии генерала П.

Генерал потребовал, чтобы к 24 часам к нему в блиндаж явилась для выполнения боевого задания ефрейтор Захарова.

Что это за боевое задание, я понял сразу.

Маша побледнела и задрожала.

Я послал ее на линию, позвонил в политотдел, доложил, что выполнить приказ не могу ввиду ее отсутствия. Дальше последовала серия звонков, грубый многоярусный мат, приказ найти Захарову, где бы она ни была. По моей просьбе командир моей роты направляет меня в командировку в штаб одной из дивизий.

Я исчезаю. Генерал ложится спать. А Маша, неожиданно для меня, влюбляется в меня.

Генерал не успокаивается, звонит каждый день, грозит за неисполнение приказа предать меня суду военного трибунала. Командир роты входит в мое и Машино положение, предлагает мне временно отвезти ее в полк на передовую. Я, Маша, мой ординарец Королев направляемся в заданный район, но в дороге в городке Любавичи нас застает ночь. Нахожу армейский узел связи. В избе двухъярусные нары, стол с коммутатором, телефонами и горящей гильзой, за столом оперативный дежурный, лейтенант, у коммутатора — сержант, свободное место на нарах только одно, и на него я отправляю своего ординарца Королева, а сам вместе с Машей ложусь на пол, но на полу лежать неудобно и холодно. Я приказываю Маше подняться, снимаю свою шинель, расстилаю ее, ложусь и предлагаю Маше лечь на мою шинель рядом и накрыться ее шинелью, но лежать спокойно, не разговаривать, закрыть глаза и спать, а она неожиданно прижимается ко мне и стремительно расте-

гивает ворот моей гимнастерки, и губы настежь, и умоляющие глаза. Меня начинает трясти, но не люблю же я ее, в Любавичах с первого взгляда я влюбился в телефонистку из соседнего подразделения, москвичку, студентку филфака, и она в меня влюбилась с первого взгляда.

Совсем не хочу я Маши. Выбираюсь из-под шинели, выхожу на улицу, смотрю на звезды.

Это был роман настоящий, но невероятно странный. Одну ночь провели мы вместе, а потом до конца войны искали друг друга и почему-то не могли найти.

Раз пять брала она отпуск в своей части, находила моих солдат, передавала через них письма, но всегда я оказывался где-то километров за сорок, а когда находил ее часть, то ее куда-то откомандировывали. Но я отвлекся, на этот раз капитально.

Через месяц за Машей Захаровой начинает ухаживать мой друг — младший лейтенант Саша Котлов, и становятся они мужем и женой, только что не расписаны, а у меня с обоими дружба.

Так вот, не учел Саша того, что Машу не выпускал из вида тот самый генерал, начальник политотдела армии, ревновал и предпринимал все меры, чтобы разрушить их замечательный союз. Сначала откомандировывал куда мог Котлова, потом пытался вновь и вновь заманить к себе Машу.

Скрываться от генерала помогала ей вся моя рота, да и не только. И осталось генералу одно — мстить за любовные свои неудачи Котлову.

Дважды наше начальство направляло документы на присвоение ему очередных званий, дважды направляло в штаб армии наградные документы.

Генерал был начеку: отказ следовал за отказом, на протесты заместителя командующего артиллерией не приходило ответов, а на телефонные обращения ответы были устные в виде многоэтажного мата и циничных предложений: сначала Захарова, и только потом — звания и ордена.

— Ха-ха-ха-ха! — смеется новый командир роты капитан Тарасов. — Какой ребенок Котлов, не буду я его защищать. Вы его друг, объясните ему, что он ничего не добьется.

Закрываю глаза. Вспоминаю.

Котлов упрямо мотает головой, ему не понятно, почему он ребенок. А Тарасов ерзает на стуле и смотрит мне в глаза.

— Я считаю, что Котлов прав, что пора положить конец гнусным выходкам безнравственного генерала, — говорю я.

— Э, Рабичев, он ребенок, генерала поддерживает командующий, Котлов один против всех.

Окончилась война. Беременную демобилизованную Машу по просьбе откомандированного Саши я провожал в Венгрии до Шиофока.

Уезжала она радостно, уверенная, что Саша приедет к ней через месяц, а его на четыре года задержали в оккупационных войсках, и с горя он начал пить и по пьянке сходил и расходился со случайными собутыльницами.

Года три ждала его Маша, а потом вышла замуж за влюбившегося в нее одноногого инвалида войны. Родила ребенка.

Ребенок. Мужчина, пожертвовавший карьерой, общественным положением ради любимой женщины.

Начальник политотдела армии, генерал, ломающий жизнь двум, а может быть, десяткам и сотням других военнослужащих.

Что это?

Мне было 21 год, Саше — 22. Мы воевали третий год. Мы не знали, доживем ли до конца войны, мы совсем не думали об этом. Отдать жизнь за Родину, за Сталина, за свой взвод, за исполнение долга, за друга, за любимую женщину, — как это было естественно и органично для

творческого человека на войне. Каким глупым ребячеством казалось все это пьянствующим, подсиживающим друг друга, редко бывающим на передовой, купающимся в орденах и наградах развращенным штабным бюрократам, слепым исполнителям поступающих сверху приказов.

Но не все же были такие?!

В апреле начинается новое наступление. К этому времени находятся все мои затерявшиеся на просторах фронта бойцы, и Рожицкий возвращает мне мой взвод, через несколько дней в деревне Бодуны погибает Олег Корнев...

Шесть фугасных бомб и я — / вот сюжет моей картины, / островки травы и глины, / небо, дерево, земля. / Дым — одна, осколки — две, / дом и детство в голове, / сердце удержать пытаюсь, / землю ем и задыхаюсь, / третья? — Только не бежать — / это смерть, лежи, считая, / третья, пятая, шестая... / Мимо. Выжил. Можно встать.

И осколок, который летел в меня, / угодил в живот моего коня. / Я достал наган и спустил курок. / На цветах роса, / а в котле фураж — три кило овса. / Белорусский фронт. Сорок третий год.

Когда появились немецкие бомбардировщики, мой друг, командир второго взвода моей роты Олег Корнев, лег на дно полусасыпанной пехотной ячейки, а я на землю рядом. Бомбы падали на деревню Бодуны. Одна из бомб упала в ячейку Олега.

На дереве висели его рука, рукав и карман с документами. Но в деревне располагался штаб дивизии и приданный к штабу дивизии его взвод. Я начал собирать его людей. Тут появилась вторая волна бомбардировщиков.

Горели дома, выбегали штабисты. Перед горящим сараем с вывороченным животом лежала корова и плакала, как человек, и я застрелил ее. После третьей волны бомбардировщиков горели почти все дома. Кто лежал, кто бежал. Те, кто бежали к реке, почти все погибли. Генерал приказал мне с моими телефонистами и оставшимися в живых людьми Олега Корнева восстановить связь с корпусом. Под бомбами четвертой волны «Хейнкелей» мы соединяли разорванные провода.

Потом я получил орден Отечественной войны 2-й степени и отпуск на десять дней в Москву.

Пишу на компьютере, неожиданно, спустя шестьдесят лет, вспоминаю пропущенные мною три года назад подробности.

После весеннего прорыва немецкой обороны Центральный фронт перешел в стремительное наступление.

Чуть ли не каждый день я получал приказы о передислокации, о новом расположении своих постов на берегах новых рек и на новых стратегических высотах. Едва бойцы мои закапывались в землю и наводили новые линии связи, как оказываясь в тылу, сворачивали эти линии и получали новые приказы о размещении на новых позициях. Наступление шло вдоль Минского шоссе. Метрах в ста от шоссе, на разбомбленных нашей авиацией железнодорожных путях, застряли десятки немецких поездов. Сотни платформ с военной техникой, танками, орудиями, обмундированием. Чего там только не было в вагонах и на платформах этих поездов, но подходить к ним мы не успевали. Не было у нас ни одной свободной минуты, опять начали отставать от передовых частей, а нагонять их нам было все труднее и труднее: во время бомбежек на переправах мы потеряли трех лошадей.

Но не мы одни испытывали трудности. Минометчики тоже теряли лошадей и, задыхаясь, тащили свои минометы на руках, а выбивавшиеся из сил пехотинцы побросали в кюветы вдоль шоссе свои тяжелые каски и противогазы, множество их тысячами валялось справа и слева от нас вдоль переполненного людьми и техникой шоссе. Движение замедлялось ввиду образовавшихся на шоссе глубоких и широких воронок, возникавших от взрывов немецких тяжелых авиационных бомб.

Очередной раз я получил приказание передислоцировать свой взвод на 12 километров. Скатали на катушки все линии связи и двинулись по Минскому шоссе. Не доезжая до деревни Бодуны, я увидел в воздухе на высоте двух километров восемь немецких бомбардировщиков «Хейнкель-111». В воздухе появилось множество черных палочек, и чем более они снижались, тем более казалось нам, что они летят на нас, и уже ясно было, что это за палочки.

— Ложись! — скомандовал я.

Все мои бойцы мгновенно распластались на земле, кто где был, слева от шоссе. Основная масса бомб упала на окраину деревни, но несколько — недалеко от нас. Самолеты развернулись и исчезли за горизонтом, а в воздухе на недостижимой высоте появился жутко маневренный немецкий самолет «Фокке-Вульф» — разведчик и корректировщик огня.

Надо было немедленно уходить из зоны бомбардировки, и мы погнали своих лошадей вперед по Минскому шоссе. Но едва проехали несколько сот метров, как я увидел на обочине своего друга лейтенанта Олега Корнева.

Он стоял на пригорке и из-под руки смотрел на запад, где над горизонтом появилась новая партия немецких бомбардировщиков. Олег объяснил мне, что ему и его взводу приказано было связать расположенный в деревне штаб дивизии с находящейся в пяти километрах зенитной бригадой, что штаб дивизии ночью распо-

жился в Бодунах, шло наступление и о маскировке никто не думал. Десятки штабных машин, танков, самоходок, грузовиков закупорили все улицы деревни, но утром неожиданно в воздухе появился немецкий разведчик и, видимо, понял, что за люди расположились в деревне.

Связисты Олега уже установили в кабинете комдива телефонные аппараты и с минуты на минуту должны были вывести линию связи на шоссе.

Мы видели, над нами кружился «Фокке-Вульф», а новых восемь немецких бомбардировщиков стремительно приближались. Олег увидел за собой пехотную ячейку и засмеялся.

— Мне повезло, — сказал он, — я с ординарцем лягу в ячейку, а ты ложись рядом, нам обязательно надо договориться о дальнейших действиях.

— Я не могу задерживаться, Олег, мне надо через час разворачивать посты вокруг переправы. Кончится бомбежка, и мы поедem дальше.

Но самолеты были уже над нами, и уже десятки палочек отделились от них. Я рухнул на траву, и все мои бойцы легли кто где стоял.

На этот раз основная масса бомб упала на центр деревни и лишь три летели на нас. Я понял, что одна из бомб летит прямо на меня, сердце судорожно билось. Это конец, решил я, жалко, что так некстати... И в это время раздались взрывы и свист сотен пролетающих надо мной осколков,

— Слава богу, мимо пронеслись! — закричал я Олегу, посмотрел в его сторону, но ничего не увидел — ровное поле, дым.

Куда он делся? Все мои солдаты поднялись на ноги, все были живы, и тут до меня дошло, что бомба, предназначавшаяся мне, упала в ячейку Олега, что ни от него, ни от его ординарца ничего не осталось.

Кто-то из моих бойцов заметил, что на дереве метрах в десяти от нас на одной из веток висит разорванная гим-

настерка, а из рукава ее торчит рука. Ефрейтор Кузьмин залез на дерево и сбросил гимнастерку.

В кармане ее лежали документы Олега. Рука, пол-гимнастерки, военный билет. Больше ничего от него не осталось. Полуобезумевший, подбежал ко мне сержант взвода Олега.

— Аппараты сторели вместе с избами, катушки с кабелем разорваны на части, линия перебита, бойцы, увлекаемые штабными офицерами, бросились к реке, но туда обрушилась половина бомб, машины на улицах взорваны, и только командир дивизии, генерал, не потерял самообладания и требует, чтобы мы немедленно соединили его со штабом армии, но у нас ничего нет, помогите, лейтенант!

И я бросился в горящую деревню. Увидел почерневшего генерала и растерянных штабных офицеров и сказал ему, что у нас есть и кабель, и телефонные аппараты, что лейтенант Корнев погиб, но что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выполнить то, чего уже не может сделать он.

— Надо немедленно связать меня со штабами корпуса и армии, а через них и с моими полками, — сказал он, — помогите, лейтенант.

Со мной было человек десять моих связистов.

Части из них я приказал разыскивать уцелевших бойцов взвода Олега, другую часть послал на шоссе за кабелем, аппаратами и людьми. Минут через пятнадцать началась наша работа, а через двадцать пять минут над нами появилась новая волна немецких бомбардировщиков. Но деревня горела, и сквозь дым трудно было уже определить, что к чему и где кто, а под прикрытием дымовой завесы мы уже подсоединяли кабель к армейской линии связи. Падали бомбы, разрывали нашу линию. Я, как и все мои солдаты, находил и соединял разрывы. Дым, который разъедал глаза, окутывая нас, помогал

нам уцелеть. Внезапно заработали телефоны, и генерал доложил в штаб армии о трагической ситуации. Посыльный его нашел меня и попросил зайти в штабную избу. Генерал поблагодарил меня и записал мою фамилию. Над деревней появились наши истребители. Немецких самолетов больше не было.

Мы хоронили Олега. Выкопали у кирпичной водоканчки яму, поставили столб, прибили доску, написали имя, отчество, фамилию, звание, устроили прощальный салют, выстрелили из всех имевшихся у нас автоматов в воздух, распили флягу со спиртом. Существует ли еще его могила — гимнастерка, рукав, рука?

Глава 6

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

30 апреля 1943 года наградили меня за эти Бодуны орденом Отечественной войны, а 22 ноября получил я на десять дней отпуск в Москву. Но вначале письма.

16 апреля 1943 года

«...Работы неожиданно много: навожу линии, «организирую» имущество связи и измеряю смоленские версты. Смоленская верста особенная, у каждой есть свой «гак», и хорошо, если гак этот окажется меньше самой версты.

Солнышко прогревает грязь. Я сижу на берегу грязной реки на горе. Под горой горелая деревня и вырубленный лес. На горе ржавые каски от пустых немецких голов. Вот и все. Привет всем! Леня».

25 апреля 1943 года

«Дорогие мои! Поздравляю вас с праздником. Прошу прощения за долгое молчание. Писать я не имел возможности, так как находился в дороге. В связи с постоянным кочевьем здорово утомился. По дорогам потерял двух своих адъютантов (оба заболели тифом). Начал писать стихи».



Лейтенант Леонид Рабичев, ноябрь 1945 г.



Леонид Рабичев с родителями. 1936 г.



В военном училище.
Декабрь 1941 г.



Виктор Рабичев. Погиб под Сталинградом в 1942 г.



Лейтенант Л. Рабичев. Фольварк Голлюбиен, Восточная Пруссия. 1944 г.



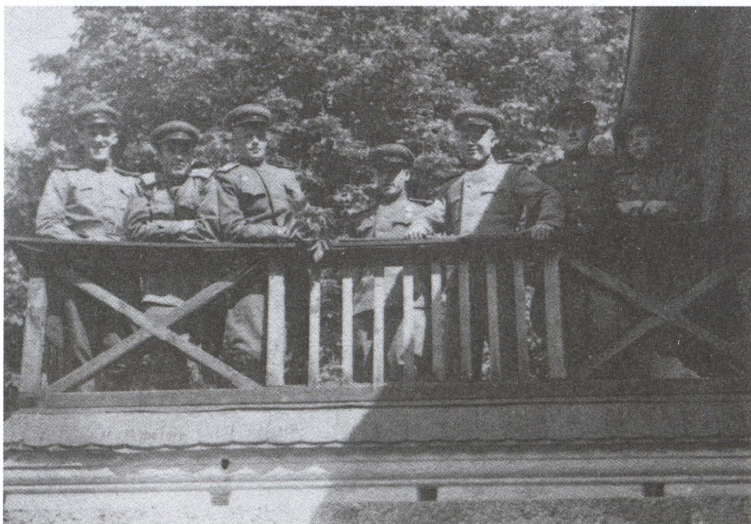
Во время отпуска
в Москву. Январь—
февраль 1944 г.



Февраль 1945 г. За победу в Восточной Пруссии, после салюта: лейтенант Кайдриков, старший лейтенант Грязютин, лейтенант Рабичев



Фронтные друзья. Слева направо: старший сержант Денисов, лейтенант Карачин, младший лейтенант Котлов, старший лейтенант Грязютин, старший лейтенант Щербаков, младший лейтенант Павлов, лейтенант Рабичев. Левенберг, Силезия. 9 июня 1945 г.



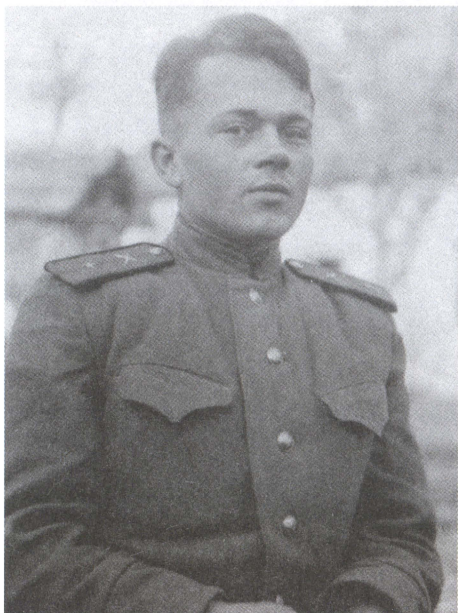
Старший лейтенант Щербаков, старший лейтенант Бельков, младший лейтенант Котлов, лейтенант Рабичев и другие. Левенберг, Силезия. 9 июля 1945 г.



Командир роты старший лейтенант
Бельков. Левенберг, Силезия. Июнь
1945 г.



Командир радиостанции РСБ для
связи со штабом фронта младший
лейтенант Александр Котлов
(1921—1963)



Санинструктор младший
лейтенант Павлов. 1945 г.

СССР
 № 0
 ОТДЕЛ СВЯЗИ
 31 армии
 5. Января 1943 г.
 № 26

Начальнику Узла Связи 31-й
 Штаба 31

Командуру 396 ОТЭР

Согласно приказанию Начальника Связи Армии 31-й армии следует своевременно с командиром взвода 100-й роты ВНОС А. Игнатьевым организовать посты ВНОС при своих КПС в пунктах: Вайнерово, Коробино, Кордаково и Госьково.
 Дежурство наблюдать все посты ВНОС Усть-Катвино.

Приказ старшего помощника начальника связи 31-й армии военинженера 2-го ранга Молдованова об организации постов ВНОС. 5 января 1943 г.

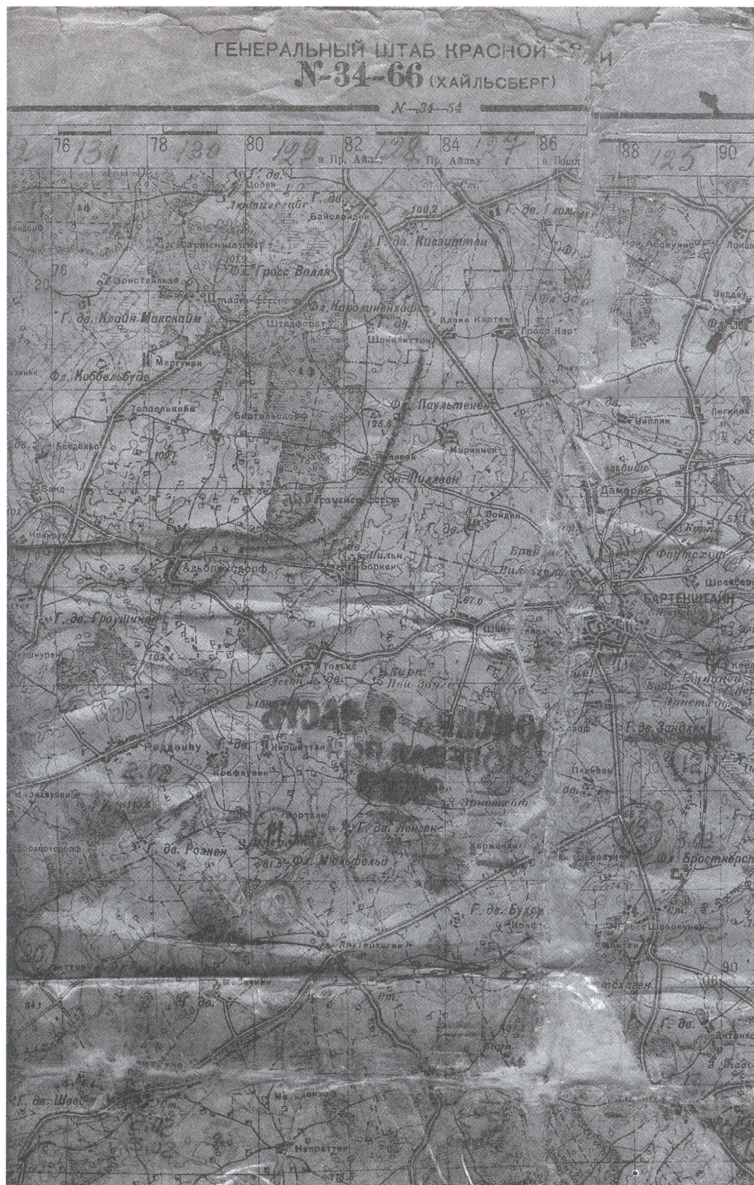
Командировочное удостоверение
 лейтенанту Рабичеву лейтенанту Николаеву
 с полуремни с предписанием
 вам убить в следующие
 командировку в деревню Верхнее
 Дуды, Николаевское и Канц.
 ровинно. Зубовичина, Иваново
 с возвращением в деревню
 5 августа 31.
 2-58

дата выдана по 31 августа 1943 г.

Штаб 31-й армии
 Командир роты
 Канцелярия
 [Подпись]

ВНОС

Командировочное удостоверение с описанием маршрута движения, выданное лейтенанту Рабичеву в штабе 31-й армии. Август 1943 г.



Карта с обозначениями постов ВНОС, которые ежедневно объезжал лейтенант Л. Рабичев



10 июля 1945 г. Венгрия, лагерь в лесу. Последний день роты



Июнь 1946 г. Москва. Через 15 дней после демобилизации



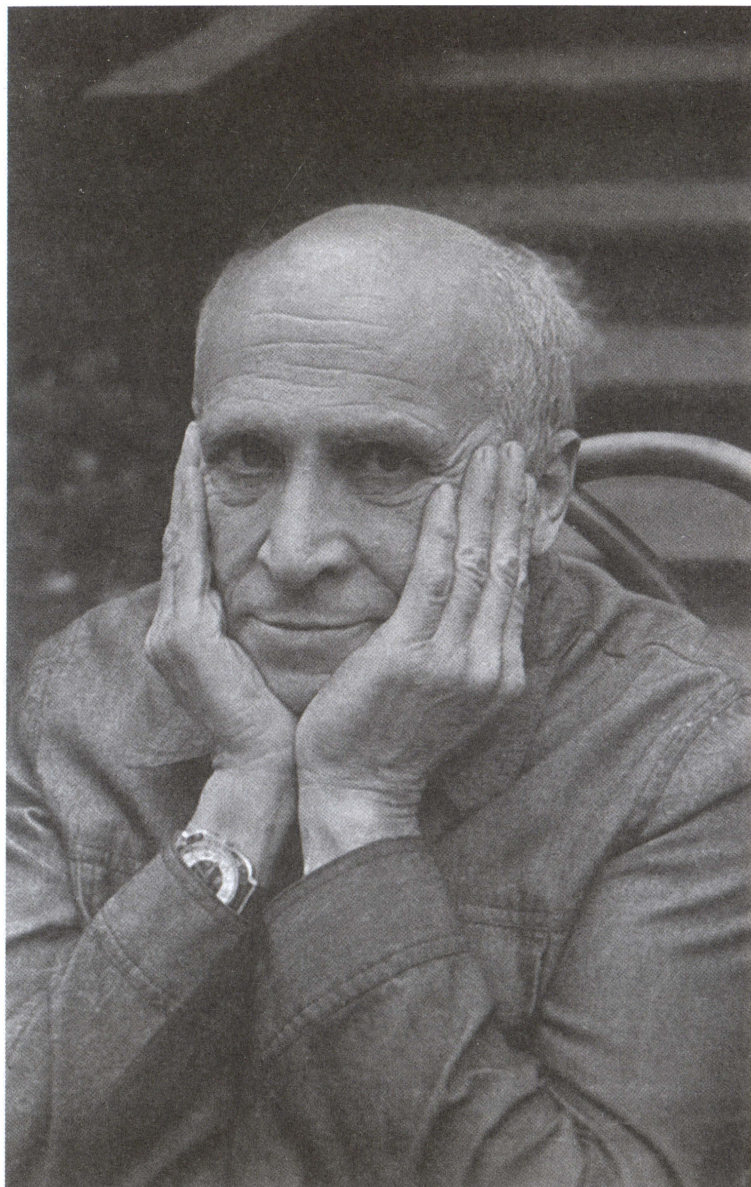
Друзья детства: Юрий Бессмертный и Лев Сиротенко



Снайпер Маша, кавалер ордена Славы, инвалид войны. Послевоенный снимок



Леонид Рабичев с однополчанкой Клавдией Батраевой



Леонид Николаевич Рабичев, 2008 г. <https://www.fotojournalism.com/leonid-rabichev/>

16 августа 1943 года

«Дорогая мама! Мне теперь очень трудно писать. Я все время нахожусь в дороге. Вперед, правда, продвигаемся очень медленно. Когда-нибудь прочту все написанное во время войны. Писем получаю довольно много и на все отвечать не успеваю. Зато жизнь у меня теперь более интересная, чем раньше.

Вижу много людей, много разговариваю, и такое впечатление у меня, что в ближайшие дни долбанем мы фрицев и дойдем аж до Минска (до Смоленска во всяком случае). Будь здорова. Целую, Леня».

25 августа 1943 года

«...Пока еще нахожусь на старом месте... Как всегда, много передвигаюсь... В Смоленской области очень много речек, но все они очень узкие и любую из них можно переехать сидя в телеге. Так и приходится все время перебираться вброд...»

4 сентября 1943 года

«...Наконец и мы сдвинулись с насиженного места. Фрицы опять отступают. Сижу в немецком блиндаже на высоте, среди бывшей деревни. Стены оклеены немецкими газетами. На столе еще не убранные немецкие журналы. А вокруг кучи консервных банок, выведенных немцами. Фрицы любят русские самовары. Однако захватить с собой они их не смогли. Среди консервных банок валяются три самовара. Краны немцы отломали и аккуратно сложили на століке. «Порядок во всем».

У меня на посту радиостанция. Каждый день слушаю последние известия.

Сегодня известия особенно хорошие. Англичане наконец раскачались. Теперь будем жать со всех сторон...»

12 сентября 1943 года (от Эрны Ларионовой)

«Дорогой Леня! Получила твое письмо. Очень благодарна за твое стихотворенье, оно мне слегка напоминает си-

моновское: «Пусть нас простят за откровенность / В словах о женщинах своих, / За нашу страсть, за нашу ревность, / За недоверье к письмам их...»

Меня Тая совсем замучила смертью В. Шемякина (с Вовой Шемякиным я с пяти лет был в детском саду, потом в одном классе в школе, дружил с ним, часто бывал у него дома в Подколокольном переулке. — Л. Р.), ломает руки и ходит выплакиваться ко мне и к Анне Осиповне... Но что я пишу тебе? Пишу, потому что ничего другого нет. Мне тоже не особенно весело. Эрна».

5 октября 1943 года

«...В этом месяце пришлось побывать в Смоленске, в который я попал через несколько часов после его освобождения. На моих глазах взрывались уцелевшие от немцев дома. Они закладывали мины замедленного действия. Теперь город уже далеко позади, впереди Минск...»

10 октября 1943 года

«...Нахожусь сейчас на путях к Орше. Живу рядом с «цивильными». Недалеко Днепр. Вчера вышел из пределов Смоленской области и вступил в БССР. Погода даже для солдата замечательная. В краю болот почти не встречается грязи. Солдаты теперь ходят сытые. Картошки, капуста, свеклы, репы — хоть завались... Несмотря на осень, начинают здорово покусывать мухи. Приходится поневоле кушать свежую конину. Очень много вокруг ее понабросано...»

20 октября 1943 года

«...Я сейчас одной ногой стою в Смоленской области, а другой в Белоруссии, то есть часть меня находится в РСФСР, а часть в БССР. Здесь уже не говорят «картофель» или, как на Смоленщине, картоха. Здесь говорят «бульба». А гулять выходят в белых лыковых лапотках...»

26 октября 1943 года

*«...Неприятность только одна — табака нет... Наблю-
даю, как меняется язык населения. Здесь уже не едят про-
сто картошку, едят «картошку вместе с бульбой». Пол
здесь называется мостом, а полом — нары. И акцент язы-
ка меняется.*

*На днях встретил двух лейтенантов, вместе с ними я
кончал военное училище в Бирске. Последнее время возоб-
новил литературные занятия».*

Сразу же начал звонить друзьям и знакомым, но ни-
кого найти не мог. Звонил Лене Зониной, звонил Диме
Бомасу, звонил Бунину — длинные гудки. На всякий
случай звоню Осипу Максимовичу Брику: он и Лиля
Юрьевна обрадованы, удивлены, приглашают меня к
себе. И вот я опять на Старопесковском.

Квартира Бриков не изменилась, только, как и везде
в Москве, холодновато. Я ставлю на стол бутылку вод-
ки — это жуткий дефицит и окно в довоенный мир, —
банку американской свиной тушенки, угощаю литера-
торов фронтowymi ржаными сухарями. Лиля Юрьевна
вынимает из шкафчика белый батон, наполняет хруст-
альную вазу бутербродами, достает хрустальные рюм-
ки, кофейный сервиз, сливки.

Я рассказываю о последнем нашем наступлении, о
невыгодной нашей обороне под Оршей. Начались мо-
розы — стало лучше, а вот когда наше наступление
выдохлось, всю осень пехота сидела по пояс в воде, а
немцы с высот, которых мы так и не взяли, обстрелива-
ли наши подразделения. И хотя активных военных дей-
ствий не происходило, было много убитых и раненых.

Несмотря на это, настроение у всех было хорошее, ведь,
кроме нашего 3-го Белорусского фронта, повсюду шло
наступление, и мы тоже ждали приказа о наступлении.

В свою очередь, Осип Максимович читал письма по-
этов-фронтовиков, стихи Бориса Слуцкого, Александра
Межорова. Не помню, что говорил Катанян.

Вдруг Лиля Юрьевна вздрагивает, обрывает Брика.

— Леня! — говорит она. — Что же это мы теряем время! Вчера из эмиграции вернулся Вертинский, а завтра его первый концерт, и нельзя терять ни секунды. Сейчас я ему напишу письмо, попрошу, чтобы он дал вам билет или контрамарку, вы обязательно должны быть на его концерте. Вы любите Вертинского?

Я говорю, что мой брат до войны очень его любил, а мне нравился Блок... А Лиля:

— Чепуха! Вот номер его комнаты в гостинице «Метрополь». Вы должны сказать, что вы поэт, фронтовик, что приехали с фронта и завтра уезжаете на фронт, что вы его поклонник!

Я пытаюсь возражать, но Лиля стремительно пишет письмо. Два часа дня.

— Бегом! А то не успеете! — И стремительно вытаскивает меня из квартиры.

В «Метрополе» вход совсем не с той стороны, что в ресторан. Стучу в номер. Открывает его секретарь.

Я в военной форме, с орденом, каких еще в Москве мало, показываю ему свое отпускное предписание. Лейтенант с фронта, поклонник. Он говорит, что к Вертинскому меня не пропустит — тот отдыхает и готовится к выступлению, но контрамарку мне дает.

Итак, вечером я на концерте.

Первое впечатление — люстры, как до войны. Энтузиазм зала, на глаза наворачиваются слезы, аура восторга. Тут еще и что-то... Свобода! Свобода! Вот уже и цензура не запрещает!

А я сижу в зале, и мне стыдно. На фронте жеманство и стилизация неуместны.

У меня потребность чего-то простого, ясного, честного, четкого. Я три месяца назад похоронил руку и карман гимнастерки — все, что осталось от моего друга Олега Корнева, и не в «далеком Лиссабоне» с белой маской мима, колеблющимися и мистическими взмахами бледных рук...

Душе моей в сто раз созвучней симоновское «жди меня, и я вернусь...». Но и это не то. Знал, но как-то отстранял от себя, что это было искусство тоскующей о Родине, ностальгирующей в эмиграции русской интеллигенции, и не любил я эту, видимо, созвучную остановившемуся времени манерность. Фильмы. Мягкотельные интеллигенты с бородками. Так изображали меньшевиков.

Кстати, спустя три месяца будущий мой друг, моя бывшая одноклассница, будущий искусствовед, а ныне покойная Эрна Ларионова прислала мне на фронт стихи Бориса Пастернака из романа. Они уже ходили по рукам. «Свеча горела на столе, свеча горела...» Я читал их в блиндаже на одной из высот, что на месте деревни Старая Тухиня. Вокруг падали немецкие мины, время от времени с воем пролетали «андрюши», а бойцы мои разливали по флягам свои ежевечерние сто грамм, и мне стыдно было и за любимую мною Эрну, и за любимого мною поэта, который в такой ответственный судьбоносный момент писал о каком-то славянофиле Самарине. Я ведь не знал, что Пастернак жил тогда в Переделкине, а в доме этого славянофила находился госпиталь, в котором от ран умирали мои сверстники с оторванными руками и простреленными легкими.

Я не понимал тогда, что передо мной разыгрывался не фарс, а одна из версий продолжающейся трагедии тоталитаризма, и мне было стыдно.

Все мои одноклассники были на войне. Многие телефоны не работали. В квартире Воли Бунина никого не было. Лена Зонина была на фронте.

Весь день ходил я по улицам полуголодной Москвы. В шесть вечера, проходя по Солянке, вспомнил, что в угловом доме номер 1 жила до войны одноклассница моя Тая Смирнова. Поднялся на второй этаж и позвонил.

Открыла дверь Тая.

Тая удивилась моему превращению из застенчивого, рассеянного мальчика в строевого фронтового лейтенанта. Смеялась и плакала. Плакала потому, что на фронте погиб мальчик, которого она полюбила, а потом на другом фронте погиб ее друг, наш одноклассник Вова Шемякин.

Она училась уже на втором курсе исторического факультета МГУ.

Я рассказывал Тае об успешной, нелепой, страшной, а порой трудной и героической фронтовой своей жизни, а она о себе, о Москве. Часов в шесть вечера она решила познакомить меня со своей подругой Эрной Ларионовой.

В довоенной своей юности я пережил первый настоящий роман, любовь без взаимности, с Любой Ларионовой. «Опять Ларионова», — подумал я. Эрна жила совсем недалеко, в коммунальной квартире, во дворе дома в Хохловском переулке.

Теплая, уютная комната. Эрна, ее мама, я и Тая. Мама — из немцев Поволжья, отец — электротехник. Мама читала немецкие сентиментальные романы и к гуманитарным наукам относилась скептически. Была у Эрны накануне войны, в десятом классе, большая любовь. Но трагедия вошла уже почти в каждый московский дом. Жених ее погиб при отступлении в 1941 году.

Эрна тяжело переживала трагедию. Единственное желание ее родителей было выдать ее поскорее замуж, и они знакомили ее то с одним, то с другим потенциальным женихом — это были монтеры, продавцы магазинов, в основном люди уже не молодые, а она была девочкой, охваченной романтическими мечтами. Сначала мечтала стать художницей, увлекалась поэзией Блока, Пастернака и в подлинниках — Рильке.

Родители не понимали и осуждали ее, а она поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Московского университета и увлекалась французскими импрессионистами.

Красивая девочка с длинными-предлинными косами, с глазами русалки. Что-то немецкое всегда было в ней — мечтательность сочеталась со стремлением разложить все по полочкам. Рациональный ум, умение четко и ясно формулировать свои мысли, но тогда, в двадцать лет, и мистические озарения, женственность, и чудесное желание поделиться всем, что она узнавала из книг, с друзьями.

Это был первый мой вечер после года училища и семи месяцев жизни в блиндажах, обстрелов, бомбежек, и мне казалось, что никогда еще мне так хорошо не было.

Ни я в Эрну, ни она в меня не влюбились, я даже не знаю почему. Оставшиеся девять дней отпуска после занятий в университете она проводила со мной, вернее, она руководила мной, а я с восторгом и благодарностью следовал за ней, слушал ее. Мы по московским переулкам подходили к храмам — или загаженным, или превращенным в складские помещения, — и она рассказывала мне (откуда знала?), кем и когда они были построены и чем отличались друг от друга, и что такое нарышкинское барокко и московский ампир, и сколько в архитектуре их самобытности и неподвластного времени величия.

Еще не была построена гостиница «Россия», и мы вечерами бродили по узеньким переулкам, между старыми двухэтажными, битком набитыми замоскворецким разным людом бывшими купеческими особняками, заходили в узкие и темные дворы и дворики.

Помню узкий двор четырехэтажного дома, вдоль стен которого от первого до четвертого этажа тянулся, поднимаясь все выше и выше, тротуар, двор, замощенный булыжником, и вдоль тротуара двери квартир. Противоположные стены на уровне каждого этажа соединялись

висящими в воздухе переходами, на перилах которых сушилось белье. Некоторые дворы напоминали то ли купеческий быт пьес Островского, то ли петербургские трущобы из романов Достоевского. Это была Москва со своим неповторимым лицом, и дыхание перехватывало от соприкосновения с историей. А Эрна каждый раз приводила меня на новое место.

Эти мои скитания по переулкам и дворикам Замоскворечья врезались в мою память и остались важной частью моего фронтového представления о Родине.

В один из последних дней своего отпуска увидел я вывеску журнала «Знамя». В планшете у меня были стихи, а в голове сумасшедшая идея — вместо командира взвода связи стать военным корреспондентом.

Я открыл дверь редакции.

Идея кому-то понравилась, написали на бланке отношение в редакцию армейской газеты, подписала Михайлова.

Стихи же, по совету Осипа Максимовича и Лили Брик, я отнес в журнал «Смена». Там в номере четвертом за 1944 год их напечатали.

Любимая, где ты? Что это за горе? / Вернусь контрабандой в твои времена. / На месте оврага и дерева — море, / И вместо окна и герани — волна. / Лыжня и трава, над помойкою грач? / Но поздно. Из памяти выпало слово. / И мечется ум на границе былого, / а молодость — то и не то, и хоть плачь?

Глава 7

ЖЕНЩИНА НА ФРОНТЕ

5 декабря 1943 года

«Дорогие мои! После двухдневных автомобильных мятарств прибыл в часть. Пришлось по дороге переменить до десятка автомашин. К счастью, все окончилось благо-

получно. Я отдохнул, наелся, выспался. Несмотря на некоторое опоздание, командование оценило мой отпуск.

От Москвы у меня осталось очень хорошее впечатление. За время войны я приобрел настоящих, ценных и любящих меня друзей. Завтра обновлю свои дровни и покачу по дорогам Смоленщины...»

13 декабря 1943 года (письмо от Эрны Ларионовой)

«...Ну, сероглазый солдат, хочешь знать, что я делаю? Получила от тебя письмо, очень полюбила тебя за те дни в Москве. Какая-то была в тебе тишина, полнота, ласковость. Может, их мне и не хватало тогда. Помню глаза твоей мамы вечером у тебя... Мучаюсь немного про себя, но жаловаться не хочется. Я ведь довольна «кусочком вечера», когда ты был у меня...»

14 декабря 1943 года

«Дорогие мои! С тех пор, как возвратился, я непрерывно нахожусь в разъездах, и сейчас ночь застала меня в дороге. Приближается годовщина нашей роты. К своему празднику, как-никак, а надо подготовиться. Теперь Москва кажется далеко позади, как будто не был там или как будто такой беспокойный сон приснился. Погода стоит сырая, осенняя. Болота не замерзают. На телеге ехать скользко, а на санях — тяжело. Приходится ходить больше пешком».

7 января 1944 года (письмо от Таи Смирновой)

«Благодарю за поздравление с Новым годом, который начался для меня печально — я не вылезая из гриппа и всяких осложнений... Теперь мне уже 21 год (с 1 января), но на меня это действует печально. Уныло действует обстановка и в университете. На студентов там не обращают внимания, не устроили даже новогоднего вечера. Скоро месяц, как я не получаю от моего жениха Вали писем, это после ежедневных.

Мучает неизвестность».

20 января 1944 года (от Эрны)

«Ленечка!

Получила вчера твое письмо, но пришло оно в темную минуту — у меня была Тая, изменившаяся и постаревшая за несколько часов. Больше о Валентине ничего не надо узнавать. Отец уже получил извещение. Вот и все.

Напиши ей, дорогой, а я кончу сегодня».

Перед началом наступления на Смоленск в топографическом отделе при штабе армии мне выдали карты-двухкилометровки, чуть ли не до границ Восточной Пруссии.

Линию связи я прокладывал вдоль Минского шоссе.

С утра шел дождь.

Все мои солдатики промокли насквозь.

Я ехал верхом и так промок и замерз, что у меня зуб на зуб не попадал, знобило.

До поворота на Смоленск оставалось еще километров двадцать. Надо было накормить и просушить людей, но справа и слева от шоссе тянулись леса и болота. Тут я увидел проселочную дорогу и за деревьями дом.

Я знал, что немцы, отступая, все хутора и брошенные жителями деревни минировали.

Вся земля вокруг была опутана ниточками, проволочками. Зацепишься ногой — мина взрывается.

Если внимательно смотреть, то все это было видно, просто не надо было наступать на них.

Я предложил сержанту Корнилову осторожно подойти к дому, посмотреть, не заминированы ли двери, войти в дом и проверить, не заминирована ли печка. Обычно, отступая, немцы закладывали мины в русские печи и дымоходы. Затопишь — и взрывается весь дом.

Но Корнилов отказался.

— Лучше под трибунал пойду, но глупость эту делать не стану.

Тогда я спросил, нет ли среди солдат добровольцев, но все молчали.

Тогда я — авось пронесет и ко стыду моего и корневского взводов (человек пятьдесят со мной было) — слез со своего измученного коня и осторожно прошел от шоссе до дома, потом спокойно вернулся и уже совсем спокойно снова подошел к дому.

Внимательно осмотрел дверь, приоткрыл ее, закрыл, открыл совсем. В доме было холодно, давно не топили, но дрова были. Сердце билось. Все-таки страшно было, но я залез в печь, проверил дымоход, пооткрывал вьюшки. Мин не обнаружил.

Повеселевшие, мои солдатики набились в дом, затопили печь и только-только начали согреваться, как появился подъехавший на машине командир роты Рожицкий, и — трехэтажный мат!

— Что еще за остановка? Пять суток ареста! Немедленно двигаться дальше и линию тянуть.

Так и не напившись кипятка и не согревшись, прошагали мы еще двадцать километров до этого указателя на еще не взятый нашими войсками Смоленск, до деревенского дома напротив этого указателя.

На этот раз дом осмотрели мои сержанты. Мин не было. Затопили печь, сняли с себя мокрую одежду и кто на печи, кто на столах и скамейках, кто на полу заснули.

А потом внезапно открывается дверь и входит молодая красивая женщина, а за ней девочка и старуха. Перед домом мычат две коровы.

Женщина стремительно обнимает меня, благодарит и целует. Я первый русский офицер.

— Наши пришли, окончена оккупация!

Я смущен, не знаю, как освободиться, а солдаты смеются:

— Иди на сеновал, лейтенант, она же зовет тебя!

А женщина не отпускает меня и тоже смеется, и плачет, и рассказывает, как, пока шли бои, она скрывалась с матерью, дочкой и коровами в лесу, а вчера поняла, что пришли наши, и вот вернулась домой. На столе вед-

ро молока, сметана, картошка, сало, пир горой, а Маша не отходит от меня — очень красивая, но вся в оспинках — и шепчет:

— Лейтенантик! Никого мне не надо, а с тобой пойду, — и ставит лестницу, и приглашает меня на чердак.

Я готов за нее жизнь отдать, но что это за московское воспитание, вошедшая в гены интеллигентность, будь она проклята!

Не могу я раздеться и лечь на женщину на глазах у своего взвода, и опять я придумываю какое-то неотложное военное якобы распоряжение о вызове меня куда-то и выбегаю из дома, и мой ординарец Гришечкин уводит мое счастье на сеновал. И надо мной смеются мои солдаты, а я придумываю, что в Москве ждет меня невеста, и все удивляются такой преданности. Каждому хочется, чтобы его ждали, каждый понимает, что временное, а что настоящее, и наивность моя и моя верность уже вызывают всеобщее уважение.

Но ведь они не знают, что я опять наврал, что на душе у меня камень и мысль, что вот мелькнуло что-то настоящее, может, и не ушел бы я от нее никогда и никуда, а вот смалодушничал и опять упустил свое счастье, свою судьбу.

А судьба спускается с сеновала и бросается мне на шею и шепчет:

— Лейтенантик мой, почему не пошел со мной, позови же меня!

Но она же мне только что изменила! Что это такое?

Мы на постое третий день. Каждое утро Гришечкин просит у меня коня, перевозит сено, вспахивает и боронит поле. Он деревенский мужик, все понимает по-своему: женщина, земля, пахота, неожиданный кусочек его довоенной настоящей жизни.

А мне худо.

А хозяйка все смотрит и смотрит на меня.

На четвертый день мы навсегда покидаем Машу и въезжаем в горящий Смоленск. Едем по центральной улице, а справа и слева взрываются от мин замедленного действия и падают многоэтажные дома.

Блиндаж сержанта Спиридонова располагался на высоте, на холме за деревней Сутоки. Я этого своего сержанта недолюбливал.

Бывший лагерник — то ли вор, то ли в драке покалечил кого-то, — глаза бегают, а рот непонятно улыбается. Хитрец, сквернослов и трус. Как стал сержантом, непонятно. Может быть, в запасном полку начальнику взятку дал, а может, спьяну или со страху подвиг в бою совершил. Была у него медаль «За отвагу».

Приехал я к Спиридонову. Слез с коня. Смотрю, девчонка лет семнадцати. Что-то у нее с телегой не ладилось. Я помог. Она платок скинула и поцеловала меня. От неожиданности я покраснел и сердце у меня забилося, а она расстегнула у меня на гимнастерке пуговку, руку к сердцу приложила и говорит:

— Так, твою мать! Чего разволновался? Почему руки у тебя дрожат? — Отвернулась, прыгнула на телегу, стегнула лошадь вожжами.

Я говорю:

— Куда же ты?

А ее уже не было. Однако бойцы мои и Спиридонов все видели и слышали.

Поужинал я в блиндаже, вышел на поляну. Луна. Звезды. За холмом стадо коров, силуэт пастушки.

А Спиридонов говорит:

— Товарищ лейтенант! А ведь это та самая Маша, что на телеге уехала. наших всех отшивает, но, может быть, у тебя что получится.

И я пошел. Сердце билось, ноги ватные, но пошел и сел с ней рядом. Она спиной к луне сидела, мое лицо видела, а я ее не видел.

Потом она легла. Прошло с тех пор семьдесят пять лет, но ничего приблизительно сопоставимого по степени потрясения уже никогда не было. Может быть, с ума сошли?

Это было бесконечно и обоюдно, меня оглушил ее трепет, она что-то бормотала, и я, видимо, пребывал в невесомости. Это было похоже на космос, может быть, на море, я тонул в неизвестности, что-то накатывало, выше, выше, потом произошло чудо, и длилось оно тоже бесконечно.

Секс? Любовь? Ничего я не знаю. Была ночь. Несколькими раз она отдавала мне свою жизнь, потом я ей прошлое и будущее, потом мы летели куда-то, а над нами было небо, звезды, луна, вечность. Первым заговорил я. Мне хотелось сделать для нее что-то большое, помочь жить, подарить на память какую-то необходимую для существования вещь. Но у меня ничего не было, кроме обмундирования и нагана. «Господи, — думал я, — неужели нельзя ничего придумать?»

И вдруг меня осенило, и придумывать я уже ничего не хотел, а предложил ей стать моей женой.

На нее напал смех.

— Лейтенант, — сказала она, — ведь я еще утром это поняла, ведь у тебя до меня никого не было, и ты завтра можешь погибнуть на войне, и ведь и мне так хорошо никогда не было, но подожди! Если ты правда хочешь, чтобы я тебя запомнила, подари мне туфли, лакированные лодочки на шпильках, я такие до войны в кино видела.

— Лакированные лодочки? Как странно. Это как у Гоголя — подари черевички! Где я возьму их? Но подожди. Сколько они стоят? У меня на книжке три тысячи рублей. Фронт уйдет, до Москвы часов двенадцать. Я отдам тебе эти деньги. Когда? Сегодня. Сегодня вечером. Ты поедешь в Москву, купишь там эти лодочки.

И я оседлал своего коня и через полтора часа был в штабе роты.

Однако ни писаря, ни начальника не было, а радист передал мне приказ командира части о начале наступления.

Я сидел у телефона, отдавал распоряжения, потом дни и ночи перемешались. По дорогам, параллельным шоссе Москва—Минск, мы то наводили, то сворачивали линии связи, шли и шли по пятьдесят километров в сутки.

Под Оршей немцы остановили нас.

Маша! Я все время думал о ней. Почему я не узнал фамилии, почему не узнал адреса? И под Оршей, и под Прагой думал, и когда демобилизовался и поступил в институт. Кто она была? Как сложилась ее жизнь? А может быть, был ребенок, а теперь ему шестьдесят пять лет? А отчество? То, что я обманул пастушку, знала вся 31-я армия, это Спиридонов постарался. И о предложении выйти замуж, и о деньгах, и о лакированных туфельках на шпильках. И по этому поводу было много смеха.

Шутя, мы делили свои сухари / на черствые равные части. / Мы изо дня в день от зари до зари / шутили, мечтая о счастье. / Под нами журчала гнилая вода, / от взрывов фонтаны вставляли, / а счастье — оно приходило всегда, / когда мы о нем забывали. / Нежданная встреча. Награда. Кино. / Посылка. Письмо фронтовое. / У каждого, каждого было оно, / военное счастье скупое.

5 августа 1943 года (письмо Вадиму Бомасу)

«...Дорогой Дима! У Джека Лондона есть повесть — «Алая чума». Там он описывает мир после двадцати лет запустения. Сегодня прошло два года. Смоленская область.

Остатки деревень с чрезвычайной быстротой, то ли от времени, то ли от рук людей, сравниваются с землей. На месте старых поселений растет бурьян и репей (может быть, пырей). Так, вероятно, стирались с лица земли города древних.

Леса сожгли или повырубили — степь. Только по берегам рек заросли малины. А рек столько же, сколько разрушенных деревень...»

Глава 8

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ

Спустя тридцать лет. Город Борисов, 9 мая 1974 года

Подхожу к телефону. Григорий Левин. Спрашивает, могу ли я в составе делегации совета ветеранов 31-й армии поехать в город Борисов, принять участие в торжественных мероприятиях посвященных тридцатилетию освобождения Белоруссии.

— А когда?

— Завтра. Сегодня надо получить командировочные, гостиница забронирована, едут одиннадцать ветеранов, вы будете двенадцатым.

Вокзал, поезд. Торжественная встреча. В гостинице номер на четверых. Бывший начальник политотдела дивизии — полковник в отставке, бывший капитан-артиллерист, бывший командир партизанских отрядов — грузин Иоселиани и я. В соседней комнате пять 48-летних женщин, на груди у каждой — один или два ордена Славы, а на счету от шестидесяти до ста сраженных немцев. На войне они были снайперами, училище их располагалось в помещении оранжереи усадьбы Кусково.

Вечером мужики-ветераны приглашают в свой номер женщин-снайперов. За столом рядом со мною милая, веселая Маша. Мы знакомимся. Я художник, она специалист по парикам в Большом театре. Парик Ленского, парик Германна, парик Наташи Ростовской. Я спрашиваю, чем занимается ее муж, а она говорит, что ни мужа, ни детей у нее нет, и в шутку предлагает мне выпить в честь знакомства на брудершафт.

— Чай?

— Ну конечно!

А между тем в номере уже идет бурная беседа.

Комиссар вспоминает о высоте в трех километрах от города, где у немцев была более выгодная позиция, но у нас не было выхода, и мы трижды пытались взять ее штурмом. Выясняется, что капитан-артиллерист тоже участвовал в штурме, потерял двух лучших своих друзей, а после того, как высота стала наша, своими руками хоронил их, и столбики поставил, и на дощечках написал, кем они были.

Утверждал он, что только благодаря поддержке его батареи немецкая часть отступила. Однако я и Маша слушаем, что рассказывает Иоселиани.

Рассказывает он, как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.

Иоселиани с автоматчиками пытаются укрыться в лесах, но предатели и доносчики со всех сторон. Десант почти полностью уничтожен, а сам он ранен, и спасают его врачи городского госпиталя. Там они лечат раненых немецких офицеров, но в потайной комнате — и его, и несколько его автоматчиков.

Я потрясен.

В 1942 году я попадаю в действующую армию на Центральный фронт. Ранней весной 1943 года перехожу линию обороны.

На десятки километров все деревни и села сожжены, только печные трубы торчат, а все поля и дороги между

ними заминированы. На Центральном фронте в Калининской области немцы сожгли прифронтовые деревни за их связь с партизанами, однако оказывается, что партизанское движение в Белоруссии возникло только в середине 1943 года, после массовых, проведенных в деревнях реквизиций, после того, как женщин и детей начали угонять на принудительные сельскохозяйственные работы в Германию.

Только тогда население городов и сел Белоруссии вспомнило о патриотизме.

Я слушаю этот трагический, неожиданный для меня рассказ, а награжденная двумя орденами Славы Маша мне на ухо говорит:

— Помоги мне, меня поместили в общий гостиничный номер, и я в панике. Я не хочу, чтобы все знали, что у меня нет двух ног, не люблю снимать протезы, когда на меня смотрят.

— Маша! Что ты сочиняешь? Я же сразу обратил внимание на тебя. Гордая женщина с решительной походкой, ты шутишь?

А Маша чуть приподнимает юбку, берет меня за руки и силой прижимает к своей ноге ниже колена и выше колена. Одна нога и другая нога — деревяшки и металлоконструкции.

— Господи! — говорю. — Ты же герой и зачем и что скрывать. — И говорю полковнику и капитану, и мы все к администратору, и вопрос с комнатой решается мгновенно.

Мы много ходим эти четыре дня, ходим по городу, на заводы, вокруг памятников, и Маша не показывает виду, что устала, улыбается, шутит. Вот и померк в моих глазах подвиг Маресьева.

Часов в десять вечера приезжает сотрудник горкома. В наше распоряжение на сутки предоставляется машина ГАЗ-69, чтобы мы могли посмотреть на места боев

1944 года — те овраги, высоты, поляны и болота, где в результате боев была прорвана немецкая оборона...

— Вот здесь был штаб дивизии, — неуверенно говорит полковник, — блиндажи и окопы, а метров пятьсот левее хоронили мы своих однополчан, а где-то здесь мы проползли по дну оврага и выбивали немцев из блиндажей.

Но ни тех блиндажей и окопов, ни той высоты, ни того оврага мы не находим, ничего мы найти не можем. За тридцать лет изменились не только границы селений, но и границы лесов, полян, полей, болот и березовых рощ, и каждая из дорог заводит нас не туда, и воспоминания никак не согласуются с тем, что проносится у нас перед глазами. Все узнают только разрушенный мост через Березину, который в 1944 году при отступлении взорвали немцы.

О Березина, земли граница, / Мост на дне, а новый не готов, / Танков и повозок вереница, / «Юнкерсов» пикирующих рев. / Мост на дне, воронки у причала, / Два десятка взорванных машин. / Кто за кем и чей черед сначала — / Не разнять майоров и старшин. / Время, словно пробка, сердце бьется, / Люди тонут, гложут, говорят, / А в кювете, несмотря, что топко, / Кое-где уже костры горят, / Смех и страх, а под ногами глина, / Горький дым и сладкая конина.

Старого моста нет.

Минское шоссе поворачивает и подходит к новому.

Но я о старом, взорванном, над которым в воздухе кружились «Мессершмитты», за которым на воде саперы пытались соорудить понтонный мост и перед которым на шоссе образовалась трехкилометровая пробка: танки, самоходки, тяжелая артиллерия, моторизованная пехота, «Доджи», «Студебеккеры», «катюши».

Одного взгляда было тогда достаточно — нам на него не попасть.

Я прекрасно помню, как мы правее взорванного моста, вместе с десятками и сотнями немеханизированных подразделений, переправлялись через Березину вброд.

Смотрю направо — какие-то корпуса дореволюционного завода, вдоль берега — покрытая вековым слоем ржавчины колючая проволока. Значит, это было подальше.

Усталые и разочарованные подъезжаем к гостинице. А там нас уже ждут представители городского начальства.

В восемь часов вечера в честь нас будет устроен в городском клубе «Голубой огонек».

«Голубой огонек». А была ли переправа?

В том, 1974 году по радио с утра до вечера, впервые после окончания войны, гремели слова новой песни: «Фронтовики, наденьте ордена!» — и все мы надели не на мундиры уже, а на пиджаки свои ордена и медали.

«Голубые огоньки», видимо, были тогда голубой мечтой каждого студенческого или заводского клуба выходного дня, каждого республиканского, городского, районного центра. Имитировали они праздничные «Голубые огоньки» московского телевидения.

Но в городе Борисове ко дню освобождения готовились не формально. К московским ветеранам присоединили ветеранов борисовских.

В свадебные, из белого шелка, платья одели двадцать самых красивых девушек города. Все городские оркестры свели в один. Действие происходило в огромном клубном зале, вдоль стен которого были расставлены столики с закусками и винами, каждый столик на четырех человек, за каждый усадили по два ветерана и по две девушки.

Сводный оркестр подготовил к празднику репертуар из фокстротов, танго и вальсов времен до и после войны.

И началось действо.

Последовательно к каждому из столиков подносился микрофон, и молодой красивый конферансье предоставлял слово каждому из ветеранов, и каждый рассказывал, что запомнилось ему. Но не актеры они были, не литераторы. Было несколько интересных выступлений, а больше говорили газетным языком и о роли генералиссимуса. Каждое выступление заканчивалось тостом, ветераны чокались с девушками, а девушки — поклон, реверанс, и приглашали каждого на очередной танец: «Риориту», «Дядю Ваню», «Бабочки под дождем». Я же сидел, ждал своей очереди и очень волновался, я решил рассказать борисовцам о неопикуемой переправе вброд через Березину тысяч голых артиллеристов, минометчиков, пехотинцев и связистов...

Остановился и не могу писать дальше. Видимо, начинать надо было с чего-то другого.

С весны 1943 года? С весны и лета 1944 года? С деревни Старая Тухиня?

В конце апреля просохли глинистые, прежде почти непроходимые грунтовые дороги. Структура же армейских подразделений резко изменилась в результате поставок по ленд-лизу. Пытаюсь вспомнить, как это было, и, возможно, в чем-то ошибаюсь.

25 июня 1944 года на шести повозках остановились мы на Минском шоссе перед трехкилометровой пробкой, о которой я уже писал, состоявшей из тяжелой артиллерии, танков, «Студебеккеров», самоходок, штабных полуторок. Над пробкой кружилось несколько «Мессершмиттов» и «Юнкерсов».

Мост через Березину был взорван, а понтонный по мере возведения разрушался пикирующими немецкими самолетами, между тем в полутора километрах от реки, справа от шоссе, на столбе перед уходящей в поля грунтовой дорогой, увидели мы указатель: «Брод через Березину».

Помню, как мы обрадовались, съехали на обочину шоссе, выехали на грунтовую дорогу вслед за минометчиками, остановились, отдышались. Дело в том, что над шоссе на всем его протяжении стояло густое облако пыли. Жара, пыль, грохот, ругань экипажей застрявших машин, перемешанная с густым командным матом, потерявших контроль над своими подразделениями майоров и полковников — все осталось позади. «Мессершмитты» — позади, «Юнкерсы» — позади, впереди холм, а за холмом спуск, пологий берег реки, но что за картина?

Верещагин — «Шипка» или другая — с черепами?

Но здесь что-то другое — никем никогда не виданное и ни в какие рамки разума не укладываемое.

Тысячи голых черных мужчин и женщин вперемешку с черными сопротивляющимися лошадьми, с черными минометами, автоматами, пушками, повозками от берега к берегу, несущие на руках телеги с грузами, плывущее в воздухе обмундирование. Черные потому, что черная грязь, водоросли, глина и тина превратили воду в жижу, подобную сметане. Крики, свист, ржание и голые, похожие на зверей, орангутангов. Ругающиеся, скользкие, что-то теряющие, ныряющие, а наверху, на противоположном берегу, катающиеся по траве — не на грязь же надевать свои кальсоны, юбки и гимнастерки.

И еще было у меня впечатление, что это черти в адском котле или вакханалия, впрочем, кто черти, кто грешники и кто праведники, разобраться было нельзя.

А фыркающие лошади напоминали мне драконов.

Помню, как сбросили мы с себя всю одежду, как мы распрягали лошадей и переводили их одну за другой на противоположный берег, как, голые, на руках переносили разгруженные телеги, радиостанции, катушки кабеля, автоматы, ящики с гранатами и патронами, телефонные аппараты, ноги скользили, задыхаясь, оступались, захлебывались попадающей в рот, нос и уши черной грязью и никак не могли откашляться.

Туда — обратно, туда — обратно.

Как и где отмывал я с себя грязь, не помню.

Помню, как я уже на берегу, мои люди одеты, шесть телег с катушками кабеля, телефонными аппаратами, рациями, гранатами, патронами, автоматами.

Мы подъезжаем к городу, и на дороге счастливые мужики, женщины, бабки, и у всех в руках бутылки с вином, стаканы и куски сала, и никак невозможно отказать от угощения. Целуемся, пьем и постепенно пьянеем.

Откуда итальянские вина и немецкие сигареты? Ими нас заваливают. Это население набрасывается на пакгаузы, расположенные вдоль железнодорожных путей. А у нас фураж на исходе, овса и сена нет, нечем лошадей кормить.

Приказываю освободить одну телегу, завожу взвод во двор, вернее, в сад одного из двухэтажных домов на Петровской улице. На пустой телеге я, ординарец Гришечкин и два моих сержанта.

Пакгауз. Четыре мешка овса, сено, но голова слегка кружится, и я посылаю сержанта узнать, как доехать до Петровской улицы. Сержант заходит в дом, потом в другой, потом исчезает. Ждать не могу, ехать куда, не знаю, посылаю другого сержанта, заходит в дом, в другой. Ждем. Подбегает старик с бутылкой вина и стаканом, отказать невозможно. В доме напротив кричит женщина. Я спрыгиваю с телеги, добираюсь до дома, вижу незнакомого солдата, срывающего с женщины юбку, вытаскиваю из кобуры наган. Солдат замечает меня, отпускает женщину и со злобой покидает дом. А меня совсем разобрало. Чтобы устоять, держусь за стенку, за забор, выхожу на улицу.

Телега моя с лошастью есть, а Гришечкина нет. С трудом взбираюсь на мешки с овсом и все более и более пьянею.

Сержантов нет, Гришечкина нет, куда ехать, не знаю, и внезапно такая обида охватывает меня, что я начинаю рыдать. Я пьяный, меня бросили мои солдаты. Первый и

последний раз на войне я плачу. Что было со мной дальше, не помню.

Кто-то трясет меня за плечо. Просыпаюсь. Командир роты капитан Рожицкий смотрит на меня с презрением. А я смотрю вокруг. Я на дворе, в саду, на Петровской улице, вокруг мои солдаты. Ничего не понимаю. Но и Рожицкий ничего не понимает.

Я, командир взвода, выпил и заснул, окруженный своими солдатами. Вина не большая. Он и сам не удержался от угощений.

Но как я попал к своим? Кто меня нашел в безумном хаосе освобожденного города?

Рожицкий уезжает, спрашиваю у Пеганова.

— Лейтенант, — говорит он, — у тебя хорошая лошадь, это она сама тебя привезла.

— А где Гришечкин?

— Гришечкина нет.

Конферансье просит меня рассказать что-либо аудитории. Я рассказываю:

— Не доезжая полтора километра... Пробка... «Мессершмитты»... Указатель на брод. Тысячи голых, черных, напоминающих чертей людей, напоминающих драконов лошадей, минометы, пушечки, плывущие по воздуху телеги, катающиеся по траве голые солдаты... И вдруг из зала вопрос:

— О чем вы нам рассказываете? Нет у нас никакого брода!

— Как нет, — говорю я, — полтора километра, не доезжая...

Весь зал хором:

— Нет такого брода! — и задыхаются от смеха.

— Полтора километра...

Девушка обнимает меня, и мы танцуем довоенное танго «Бабочки под дождем». Я ей говорю:

— Валя! Все, что я рассказывал, — правда!

А она:

— Леонид Николаевич! Ничего страшного, немного перепили, — целует меня и подводит к моему месту за столом, и уже другой ветеран что-то говорит о Великом Генералиссимусе, а про меня забыли. Полная чепуха.

На следующий день я встал в шесть часов утра, подошел к мосту, прошел километра три по шоссе, по сельской дороге попытался спуститься к реке, но сделать это оказалось невозможно: вдоль реки на несколько километров протянулись кирпичные стены довоенных заводских цехов. Никакого брода действительно не было. Но ведь не сошел же я с ума?

И брод был, и черные лошади-драконы. Неужели это была другая река, другой город? Не приснилось же мне все это?

Вспоминаю.

Дома в Москве в ящике письменного стола лежит подшивка писем, которые в годы войны посылал я своим родителям, письма 1942—1944 годов. В одном из них я описывал эту переправу.

Цело ли оно?

Я в Москве.

Включаюсь в работу, но мысль о несуществующем броде не дает мне покоя. И вот, наконец, я добираюсь до этой подшивки, нахожу то свое письмо, и все становится ясно. Время сыграло со мной злую шутку. Указатель был, но не в полутора километрах от взорванного моста, а в восьми километрах. Был большой объезд, и переправа происходила не на окраине города, а вероятно, километрах в десяти от него. Подъехали мы к мосту вечером, всю ночь ехали сначала по Минскому шоссе, потом по проселочным дорогам, к переправе подъехали утром следующего дня, а до города ехали еще часа три.

А как попал в город на «Виллисе» Рожицкий? Вероятно, со всей техникой, по восстановленному за ночь понтонному мосту. Да, переправа была, да, ничего я не придумал.

Глава 9

СНОВА В МОСКВЕ

Лирическое отступление

Память уводит меня назад. Юридический институт, Осип Максимович Брик, Лиля Брик, Катанян, Вертинский, Револь Бунин.

Летом 1940 года я подал документы на редакционный факультет Института повышения квалификации редакционно-издательских работников и одновременно сдал экзамены и был принят в Московский юридический институт.

И вот десять дней подряд я утром бежал в юридический институт, а оттуда мчался в полиграфический, и душа моя разрывалась на части, потому что в юридическом я познакомился с девочкой. После первого экзамена она просила меня посмотреть, как сидит на ней новое платье, я стеснялся, а она затащила меня в примерочную ателье, в кабинку, где переодевалась, расстегнула лифчик, просила меня застегнуть его.

Я расстегивал и застегивал пуговицы на ее новом платье, потом она пригласила меня к себе домой, но там кто-то был, с кем-то она меня знакомила. Мне очень хотелось учиться на редакционном факультете, но я никак не мог с ней расстаться, а на десятый день на стене раздевалки юридического института я увидел объявление о записи в литературный кружок, руководителем которого был Осип Максимович Брик.

Брики

На первом занятии прочитал свои летние стихи студент четвертого курса Борис Слуцкий, потом читали свои стихи Борис Цын, Игорь Лашков, потом очередь дошла до меня. Волнуясь и почти шепотом, я прочитал три своих последних заумных стихотворения. Вот фрагменты одного из них:

...Были — были. / Видите ли, вылетели, / Лишь спросили: / — Водители вы ли те ли?..

В общем — белиберда.

Но Осип Максимович оживился, что-то ему там понравилось, пригласил меня в гости.

И вот я вечером у Бриков в их квартире в Старопесковском переулке. Там Борис Слуцкий, Семен Кирсанов, незнакомые мне молодые поэты.

Осип Максимович представляет меня Лиле Юрьевне и Катаняну, и я по его просьбе снова, волнуясь, читаю свои «Были — были...». Какие-то слова говорил Осип Максимович, какие-то междометия — Лиля Юрьевна. Потом долго и восторженно все говорили о Володе. Я думал, что это о ком-то из присутствующих, но речь шла о Володе Маяковском.

На бюро или буфете стояла белая гипсовая голова Володи. Кто-то объяснил мне, что это Лиля его вылепила. Я любил гениального поэта, но смущала меня какая-то ритуальность в виде придыханий и закатывания глаз. Люди, окружавшие меня, были причастны к нему, я гордился тем, что оказался среди них, и в то же время чувствовал себя лишним.

Мне странно также было, что никто не осудил плохие мои стихи. Осип Максимович, которого я уже боготворил не меньше, чем Володю, сказал что-то сложное. Лиля Юрьевна кивнула и сказала что-то вроде: «Ах! Да!» Катанян сказал просто: «Да». Одним словом, я как бы был признан всеми своим.

Вечер кончился, и моя судьба определилась.

Девочка, имени которой я не помню, плюс стихи на кружке, плюс квартира Бриков разрешили мои сомнения. Я забрал свои документы в отделе кадров РИФа и перенес их в отдел кадров юридического института.

Юридический институт для меня был чем-то вроде временной передышки. На лекциях я болтал, знакомился то с одной, то с другой девчонкой. С трудом, с

третьего захода, сдал экзамен по судоустройству. Подружился с Шурочкой Цеткин, она была года на два старше меня.

Вместе мы по вечерам ходили в Историческую библиотеку. Она читала «Форсайтов» Голсуорси, а я за себя и за нее выполнял домашние задания — сочинения на одну из тем по теории и истории государства и права. Пригодился опыт докладов в кружке античной истории Московского дома пионеров. Возникли друзья. Юра Эрлих, из немцев Поволжья, дядя его был миллионером в Аргентине, и он мечтал уехать из России. Игорь Лашков, Борис Цын, Дориан Белкинд. А вот та девочка первая.

— Что же ты не здороваешься со мной, Леня! — сказала она как-то в Быкове, на Октябрьской улице.

— А кто ты? — удивился я и, как ни всматривался, не мог узнать, а она смеялась и разыгрывала меня. — Покажи свою карточку тех лет, — просил я, а она так и не показала.

Еще я познакомился с мальчиком, который хотел свести меня с группой студентов, по вечерам читавших сочинения Фридриха Ницше. Он не знал, что всех их по анонимному доносу еще за неделю до этого арестовали. Исчез самодеятельный кружок, и на комсомольском собрании единогласно осудили «врагов народа».

И моя рука была там.

Всей группой мы неоднократно ходили на слушания уголовных дел в республиканский суд на улице Воровского. Нас пускали на закрытые заседания по сложным уголовным делам, в том числе и на заседания, связанные с преступлениями сексуальных маньяков. Защищали преступников знаменитые адвокаты.

Зимой 1940 года, по приглашению Осипа Максимовича, я несколько раз бывал у Бриков на чтении стихов. Кроме того, кружок наш в полном составе выступал в совместном общежитии студентов МГУ и

юридического института в тупике за Елисеевским магазином.

Мы покупали несколько бутылок водки и какую-то элементарную закуску. Сначала читали стихи, а потом пили и танцевали до утра.

Юридический институт, с его жесткой и догматичной системой преподавания, с будущей судебной карьерой, мне все более и более не нравился, это было не мое призвание. Я не умел врать, не умел быть гибким и совсем не владел даром красноречия. Мне было семнадцать лет, я влюблялся в девочек, трепался с ними на лекциях. Перед экзаменами, просидев над учебниками двое-трое суток, кое-как их сдавал.

Настоящими моими друзьями оставались занимавшийся в консерватории Револь Бунин, поступившие на исторический факультет МГУ Виталий Рубин и Лена Огородникова, студентка второго курса ИФЛИ Лена Зонина. Воля Бунин увлекался полифонистами, теперь самым великим композитором считал он Стравинского. С Виталием и двумя Ленами я ходил то в музей западной живописи, то на лекции по истории искусства в коммунистическую аудиторию МГУ, то на концерты в Большой зал консерватории. В этот год я очень сблизился с Димой Бомасом, мы вместе гуляли по Москве и читали друг другу свои новые стихи. Кое-как сдав экзамены, я перешел на второй курс.

В конце мая 1941 года мы переехали в Быково.

Всей быковской компанией вечерами ходили по просекам, пели песни, играли в волейбол. Все были влюблены в девочку Тамару и по очереди целовались с ней. Память изменяет мне. Прошло шестьдесят пять лет. Прочитал книгу Аркадия Ваксберга о Лиле Брик. Прочитал о семействе Бриков много всякого. И о конформизме, и о гэбистах. Но Лиля Брик? Живая поэзия! Но Осип Максимович? Как много людей до конца жизни его любили, как волновало меня то, что он говорил о стихах, как забывал он обо всем и, как ребенок, ра-

довался любой удачной строчке или метафоре, умный, живой, добрый человек.

Однажды он сказал мне, что я поэт, и я поверил ему.

22 июня началась война.

В сентябре занятий почти не было. Институт взял шефство над Московским речным портом. Студенты переносили грузы с прибывающих барж. Кружок наш получил задание выпускать по несколько раз в день боевые листки и сочинять плакаты вроде «Окон Роста».

Я придумывал к плакатам стихотворные тексты. Не могу вспомнить ни одного из них, но юристам моим они нравились.

16 октября 1941 года институт эвакуировался в Алматы, а я с родителями эвакуировался в Уфу, подал заявление в военкомат, что хочу быть летчиком. Романтическая идея возникла в связи с тем, что мой брат Виктор учился в бронетанковом училище.

— Будем бить врага — ты на земле, а я с воздуха!

В военкомате меня минут пятнадцать крутили в кресле на шарнирах. Видимо, что-то у меня с вестибулярным аппаратом не подошло, и 20 ноября 1941 года меня направили в бывшее Ленинградское училище связи, которое после эвакуации располагалось в ста двадцати километрах от Уфы, в городе Бирске. Там мне было не до стихов, учился я год, и об этом я уже написал. Мне присвоили звание лейтенанта. В конце ноября 1942 года я прибыл в штаб 31-й армии, расположенный близ города Зубцова, Калининской области, в деревне Чунегово, где поблизости не то река Вазуза в Волгу впадала, не то Волга в Вазузу. В конце весны написал пять стихотворений и послал их Осипу Максимовичу. Неожиданно для меня ответила мне Лиля Юрьевна. Писала, что стихи и Осипу Максимовичу, и ей, и Катаняну понравились и чтобы я присылал им все, что напишется, но еще не писалось.

Вместо стихов я послал Брикам подробное письмо о том, как проходило весеннее наступление, какие-то общие слова о фашистах и конкретные о бойцах моего взвода. Для пометок на топографических картах о расположении линии обороны и дислокации моих постов мне выдали трофейный красно-синий карандаш.

Этим карандашом я нарисовал портрет одной из штабных телефонисток. Мне очень понравился мой рисунок, я решил подарить его Лиле и вложил в конверт.

Недели через три я получил второе письмо от Лили Брик. Она писала, как мое письмо Осип Максимович читал вслух, чтобы я еще писал письма и посылал стихи, но чтобы я ни в коем случае никогда никого больше не рисовал, потому что к рисованию у меня никаких способностей нет, рисунок ужасный, и Осип Максимович, и Катанян, и она уничтожили его, чтобы не позорить меня.

Между тем началось новое наступление.

Был освобожден город Смоленск. Но в конце лета, потеряв множество людей и израсходовав боеприпасы, 3-й Белорусский фронт на девять месяцев перешел в оборону. Я внес два рационализаторских предложения, благодаря которым моя рота вышла на первое место по фронту, и мне лично от командования фронта была объявлена благодарность.

8 февраля командование части предоставило мне третий отпуск в Москву на одиннадцать суток. Провожали меня торжественно, командир части приказал выдать мне две бутылки водки, а интендант наш Щербаков насыпал мешок картошки и сухой паек удвоенный, и еще офицерский дополнительный паек, и в рюкзак еще насыпал картошки. Это был февраль, мороз градусов 10—15.

Одет я был довольно тепло: белая пушистая ушанка, белый меховой офицерский полушубок, но на но-

гах кирзовые сапоги, хотя и с портянками. Ноги замерзали.

Из части до контрольно-пропускного пункта на Минском шоссе меня подбросили на ротной машине.

Проблем никаких не было.

По шоссе в направлении Москвы шло много порожних грузовиков.

Минут десять — и машина остановилась, и сержант-водитель помог мне забросить мешок. Я залез в кузов и, спасаясь от встречного ветра, лег на дно. Самому мне было тепло, а вот ноги стали стремительно замерзать, и я понял, что больше часа не вытерплю.

Машина шла на предельной скорости, мы подъезжали к повороту на Смоленск, я увидел тот самый указатель и тот самый свой дом, и сердце у меня забилося.

Маша!

Та, что пять месяцев назад плакала и целовала меня и упорно преследовала меня взыскующим взглядом, которую я глупо и бессмысленно потерял.

Я постучал по кабинке. Сержант остановился.

И вот дверь, и открывает Маша, и бросается ко мне, и целует меня, и я ее целую. Мир переворачивается, но открывается вторая дверь. В доме какая-то наша воинская часть.

И старая история повторяется.

Сажу на скамейке, отогреваюсь, смотрю на Машу. Она сидит рядом и улыбается, ноги отошли, выпил стакан кипятка и с ужасом понимаю, что время мое истекло. Маша провожает меня.

Голосуем. Останавливается полуторка, в кузове шесть солдат-казахов, я седьмой. Мороз усиливается. Скоро ноги опять начинают замерзать.

А казахи ведут себя странно: стали на четвереньки, уткнулись голова к голове и заунывно воют.

Но водитель и сам замерз, и километров через сто останавливает машину напротив большого дома рядом с КП. Заходим, греемся, пьем кипятков, и снова — ве-

тер и холод. Так, с несколькими остановками и пересадками, добираемся наконец до Москвы.

Это уже утро.

У въезда в Москву девчонки с автоматами проверяют наши документы. Казахи вылезают. Я договариваюсь с водителем.

За два килограмма картошки он завозит меня во двор моего дома на Покровском бульваре и помогает втащить мешок в лифт.

Кнопка 4, квартира 87, одни сутки — и я попадаю из войны в детство. Мама открывает дверь, не верит своим глазам. Я раздеваюсь, а мама, как замороженная, смотрит на мешок картошки.

В квартире холодно, паровое отопление выключено, на кухне ледник, а в комнате с балконом тепло, градусов двенадцать, там буржуйка и труба наружу. Папе в наркомате выдают дрова.

Вынимаю банки с тушенкой.

Мама варит обед, а я звоню Осипу Максимовичу Брику. Он и Лиля Юрьевна приглашают меня.

И вот я на Старопесковском.

Квартира Бриков не изменилась, только, как и везде в Москве, холодновато. Я ставлю на стол бутылку водки — это жуткий дефицит и окно в довоенный мир — банку американской свиной тушенки, угощаю литераторов фронтowymi ржаными сухарями.

В семь утра поехал в военкомат отмечать отпускное предписание, и комиссар, едва ознакомившись с его текстом: «За проявленные мужество и отвагу...» — поставил печатку: «Отпуск аннулирован», в течение сорока восьми часов прибыть в свою часть. Потрясенный, спрашиваю: почему? Капитан сочувствует мне и показывает приказ начальника Московского гарнизона.

Я едва успеваю вернуться домой. Звоню Брикам. У них занято. Прощаюсь с родителями, бегу на Бело-

русский вокзал. Через час отправляется поезд на Вязьму, дальше еду на попутной машине, вижу указатель на Смоленск, но не останавливаюсь и проезжаю мимо Маши.

Однако вскоре мне суждено было еще раз посетить Москву. Эта история была связана с нашим военфельдшером Тамарой.

У Тамары был не на жизнь, а на смерть роман с одним из моих начальников, подполковником Степанцовым. О романе этом ходили легенды. Степанцов под Оршей приказал для себя и Тамары построить огромный блиндаж.

Голый, бегал он по своему блиндажу, ожидая прихода Тамары, срывал с нее одежды, и какие игры устраивали они там, знали все в армии. В блиндаже, чуть выше уровня земли, было устроено несколько окошек из битого стекла, и днем и ночью обычно кто-нибудь из солдат и офицеров подползал по-пластунски к одному из окошек и смотрел это кино. Почему-то ни Степанцов, ни Тамара ничего против этого не имели. Потом, кажется, Тамара забеременела и уехала в Москву. А Степанцов стал тосковать и много пить. И вот в апреле 1944 года вызывает он меня, наливает кружку водки, расспрашивает, как я проводил время в Москве. Я рассказал, как через два дня комиссар города выдворил меня из города. А он:

— А не поедешь ли ты, пока оборона, еще раз в Москву? — Вызывает начальника штаба, и приказывает: — Пиши командировку на семь дней.

Я балдею от водки и неожиданности, а он говорит:

— Привезешь мне Тамару, документов у нее не будет, но есть форма, а ты постарайся. Буду встречать тебя на вокзале в Вязьме. Главное, довези до Вязьмы. — И наливает мне вторую кружку водки.

Я выпиваю ее до дна и еле добираюсь до роты.

А в шесть утра меня будит его ординарец, вручает рюкзак со всякими штабными жирами и консервами и

несколько бутылок водки — половину для Тамары, половину для меня, — вручает командировочное удостоверение и полупьяного, полусонного втискивает в кабину «Виллиса».

— Степанцов приказал довести тебя, лейтенант, до КП перед поворотом на Смоленск, а дальше сам доберешься.

И вот я опять возле указателя, а напротив дом Маши, и опять Маша бросается мне на шею, а в доме полно военных — солдаты из КП обосновались. И хочется остаться, и времени мало, и пью молоко, а у Маши слезы на глазах и у меня тоже, но делать нечего, Маша провожает меня до КП.

Через двенадцать часов я в Москве.

Со своих работ прибегают мама и папа, нахожу Тамару. Она уже студентка института, ей надо оформить отпуск. В моем распоряжении четыре дня. Вызываю по телефону Волю Бунина. Встречаюсь с Эрной Ларионовой, Таечкой Смирновой, вечером звоню Брикам. И снова с бутылкой водки перед белым Володей с Осипом Максимовичем, Лилей и Катаняном пьем за победу. Читаю стихи, слушаю стихи, договариваюсь, что завтра приду к ним не один, а со своими друзьями — композитором Револем Буниным и молодым поэтом Вадимом Бомасом.

Осип Максимович предлагает Револю Бунину написать оперу на его либретто.

4 марта 1944 года

«Дорогие мои! Простите за длительное молчание. Я вот уже дней десять живу на необитаемом острове. Во всяком случае, от почты меня отделяют добрых сорок километров пути, да еще и со смоленским «гаком»...

...А у нас кончается зима — самая трудная пора для солдата. Уже нет опасности отморозить себе нос на переездах. Уже дороги покрыты грязью по колено, а на речках под ногами потрескивает лед. Подземное существование кон-

чается. Скоро вода из всех блиндажей и нор выгонит людей на поверхность.

Будьте здоровы! Леня».

13 марта 1944 года

«...У нас борьба на два фронта: с немцами и с весенними водами. Немцев мы побеждаем, а вода штурмует все наши землянки и в конце концов выгоняет нас наружу. Все-таки до весны еще далеко».

11 июня 1944 года

«...Стоит посмотреть по сторонам, как становится ясно, что второй фронт открыт. Вы, наверно, верить перестали и в шутку превратили, а он вдруг и открылся...»

18 июня 1944 года

«...Сижу на одной из белорусских высот и жду, когда откроется дорога на Оршу. Что еще? Немцы варварски разрушили железную дорогу Москва—Минск, даже шпалы они увезли с собой, а рельсы подорвали на каждом пролете».

Она заводит патефон, / и крутит, крутит грампластинки, / а он танцует вальс-бостон / и слезы льет на вечеринке. / Любовь врасплох застала их / между воронок и ухабов, / где красный вермут на двоих / и белая коробка крабов. / Гниет «Победа» в гараже, / стоят на пьедесталах танки, / в осыпавшемся блиндаже / на бочке сушатся портянки.

Глава 10

ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПОД ОРШЕЙ

Девять месяцев продолжалась наша оборона под Оршей. С самого начала немцы заняли выгодные позиции на высотах по всему переднему краю армии, а пехота наша окопалась в болотистых низинах. Зимой еще ни-

чего, а осенью и весной по пояс в воде. И в блиндажах была вода, и в ходах сообщения, а вокруг — чахлый березняк и болота. Однако несколько выгодных позиций и господствующих высот находилось и в наших руках.

Шесть месяцев на высоте близ Минского шоссе и деревни Старая Тухиня находился узел связи и наблюдательный пост старшего сержанта Корнилова. Приезжал я к нему по чувству долга, днем проверял состояние вооружения и аппаратуры, рассказывал о положении на фронтах и в тылу.

По вечерам читал «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», и много было ассоциаций по этому поводу. А вокруг падали мины, разрывались снаряды. Бойцы мои не обращали на них внимания, а я невольно вздрагивал и, так как это веселило их, задерживался на посту на двое-трое суток.

Однако в конце мая получил я приказ перейти на самый гребень высоты, где в пятистах метрах от немецкой линии обороны находился построенный за несколько ночей непробиваемый железобетонный наблюдательный пункт командующего артиллерией армии гвардии генерал-майора Семина. Кажется, в 1812 году на этой высоте перед одним из сражений сидел в кресле и смотрел в подзорную трубу Наполеон Бонапарт.

За две ночи рядом с дотом была выкопана квадратная яма глубиной метра четыре, в которую заехала полупанель с фанерным кузовом без окон, но с дверью и ступеньками до земли, в углу была буржуйка. Сверху машину для маскировки закидали до уровня земли еловыми ветками, внутри машины был довольно большой стол с коммутатором и телефонными аппаратами, кипами топографических карт, бумаг и рацией РСБ.

В распоряжении моем были один радист и один телефонист. К коммутатору моему были подведены все армейские линии связи, линии командующих корпусами

ми, дивизиями и полками, отдельных артиллерийских бригад.

Но главная моя задача состояла в обслуживании наблюдательного пункта командующего артиллерией армии. В любой момент я мог соединить его с командармом, с политотделом, с любым из армейских подразделений.

От дверей моей машины шел глубиной четыре метра ход сообщения на наблюдательный пункт. Оттуда немцы в окопах были видны простым взглядом, а через подзорную трубу мощного увеличения можно было разглядеть лица и даже, при знании языка, читать их письма. Наблюдательный пункт, да и вся высота непрерывно обстреливались немецкой артиллерией и немецкими минометами, но дот был для них неуязвим, а в нашу замаскированную яму они просто не попадали.

То справа, то слева от нас разрывались снаряды, падали выпущенные из минометов болванки.

Справа от машины была выкопана яма-туалет. Выходить из машины было страшно. На самом деле кузов с фанерным потолком не представлял никакой преграды для мин и снарядов. Но такова психология — в освещенной двумя гильзами комнатке мы чувствовали себя в полной безопасности. Принимали и отправляли донесения и приказы. Я был в курсе всех переговоров и вообще всего, что происходило на территории армии. Но о главном я не написал.

Наблюдательный пункт был сооружен для коррекции и непосредственного управления воинскими частями, подготовленными для прорыва глубоко эшелонированной мощной линии обороны немцев на Борисовско-Оршинско-Минском направлении, то есть на пути наступления 3-го Белорусского фронта.

В мае все северные Прибалтийские и все южные Украинские фронты наступали. Украинские фронты приближались уже к границам Польши, Венгрии, Румынии.

Настроение было восторженное, уверенность в победе полная. По ночам бронетанковые и артиллерийские подразделения продвигались к линии обороны. Все линии связи были полностью загружены. Я в зашифрованном виде передавал приказы номеров первого, второго и т. п., получал ответы. Некогда было даже поесть. А днем, видимо чтобы немцы ни о чем не догадывались, линии были наполнены лирическими объяснениями, фантазиями и добродушным матом.

Мой голос знали все телефонистки армии, и я полусерьезно объяснялся им в любви. То и дело эти разговоры носили общий характер. К ним подключались все, кто хотел. Вслед за телефонными поцелуями шли телефонные обнимания и телефонные совокupления со всеми деталями и всеобщими комментариями.

19 мая с утра началась артподготовка, снаряды разрывались в окопах и блиндажах немцев и сравнивали их с землей. С воздуха бомбили вражеские укрепления наши бомбардировщики.

Шестерками, одни за другими, пролетали наши штурмовики Ил-2. Но с ними творилось что-то странное: когда они долетали до третьей линии немецкой обороны, выполняли задание и пытались развернуться, ничего из этого не получалось, и один за другим они взрывались и падали.

Назад возвращался один из шести. Еще во время артподготовки мы вышли из своей подземной машины, стояли во весь рост на высоте и в недоумении наблюдали за этими катастрофическими воздушными атаками.

Через два часа пошла в атаку наша пехота. Две первые линии пробежали, а у третьей залегли и подняться на ноги уже не смогли. Заработали, и совсем не с тех позиций, которые бомбила наша авиация, немецкие пушки и

пулеметы. Жуткий перекрестный огонь совершенно не пострадавших немецких пулеметных и минометных позиций. Появление немецких бомбардировщиков, гибель тысяч наших пехотинцев, пытавшихся вернуться на исходные позиции. А на линиях связи, на земле, в окопах, в штабных блиндажах и в воздухе, с гибнущих наших самолетов — отчаянный, путающий все указания мат перемешивался с нервными выкриками штабных телефонистов.

Наступление полностью провалилось. Множество тысяч убитых. Раненые бойцы ползком возвращались на исходные позиции. В контрнаступление немцы не пошли. Перед моими глазами догорали подбитые наши танки и самоходки.

Восемь ночей затем медленно двигались по Минскому шоссе и проселочным дорогам новые наши танковые и моторизованные пехотные дивизии.

29 мая наступление наших войск снова провалилось. Дальше третьей линии немецких укреплений не прошли и понесли огромные потери.

А через день перед строем читали нам адресованное командующему 3-м Белорусским фронтом маршалу Черняховскому страшное письмо Ставки Верховного главнокомандования о том, что 3-й Белорусский фронт не оправдал доверия партии и народа и обязан кровью искупить свою вину перед Родиной.

Я не военный теоретик, я сидел на наблюдательном пункте и видел своими глазами, какими смелыми и, видимо, умелыми были наши офицеры и солдаты, какой беззаветно храброй была пехота, как, невзирая на гибель своих друзей, вновь и вновь летели на штурм немецких объектов и безнадежно погибали наши штурмовики, и мне ясна была подлость формулировок Ставки. Мне ясно было, что разведка наша оказалась полностью несостоятельная, что авиация наша, погибая, уничтожала цели-обманки, что и количественно и качественно немецкая армия на этом направлении во много раз пре-

восходила нас, что при всем этом и первый, и второй приказы о наступлении были преступны и что преступна была попытка Ставки Сталина свалить неудачи генералитета и разведки на замечательных наших пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, на мертвых и выживших героев.

Все это наверняка понимали и Сталин, и Жуков, и Черняховский, угробившие несколько десятков тысяч людей. Но при общем наступлении 1944 года наш оставшийся на важнейшем направлении фронт должен, обязан был переходить в наступление, ошибка должна была быть исправлена не смертью и кровью ослабленных подразделений, а стратегией и тактикой штаба Главнокомандующего.

И вот началось.

Каждую ночь по Минскому шоссе и по всем параллельным большим и малым трактам и проселочным дорогам из резерва Главнокомандования двигались свежие корпуса, дивизии и бригады, тысячи танков и самоходок.

На «Доджах» и «Студебеккерах», полученных по ленд-лизу, десятки тысяч вооруженных автоматами, пулеметами и минометами частей, колонны «катюш», бесконечные колонны машин с боеприпасами и продовольствием, хлебом, крупами, комбижиром и американской тушенкой. Непрерывный ночной гул днем замирал, и, сколько я ни смотрел, ничего вокруг не было видно.

24 июня началось новое наступление.

Я сидел в закопанной в землю машине перед топографическими картами от Смоленска до Кёнигсберга. Принимая и передавая лаконичные, непонятные мне телефонограммы, я на этот раз чувствовал, что повторения того, что было, не будет, что впереди Берлин, Кёнигсберг.

Все было грандиозно.

Немецкие армии были окружены, а мы пошли вперед, вошли в Восточную Пруссию. Мы шли вперед, а

несколько десятков тысяч окруженных нами и сдавшихся немецких солдат и офицеров прошли в Москве, по Красной площади.

*Сняв сапоги и скатки,
Время играет в прятки.
Ноги его болят,
Плечи его немеют,
Боги его стареют,
То тот, то этот умрет.
Правое плечо вперед!
Левое плечо вперед!*

В 1939 году после подписания пакта Молотова—Риббентропа, вдоль новой границы СССР в считанные месяцы была построена мощная линия обороны из дотов-крепостей, что-то вроде линии Маннергейма в Финляндии. При отступлении 1941 года линия эта сразу же оказалась в глубоком немецком тылу.

8 июля 1944 года я, верхом, мой новый ординарец Кузьмин, радист Хабибуллин и шесть бойцов моего взвода на двух повозках, нагруженных катушками кабеля, запасами патронов, гранат, продовольствия, телефонными аппаратами, ракетой, вечером подъехали к забытому бетонному доту.

Вход, выход, внутри лабиринт с бойницами, а внутри лабиринта — спускающийся ниже уровня земли бетонированный почти зал.

Развернули радиостанцию, связались со штабом, сообщили о своем местонахождении, натащили сена, занесли все имущество, расстелили внутри дота плащ-палатки, завели внутрь лошадей.

У входа и выхода я поставил двух автоматчиков и заснул. Часа в три ночи разбудил меня ефрейтор Осипов и шепотом:

— Лейтенант! Не говори ни слова, вставай и быстро иди за мной.

Стремительно подхожу к одной из бойниц, смотрю — в доте все уже на ногах, с автоматами и гранатами, Хабибуллин у радиостанции. Звезды, луна и метрах в пятидесяти несколько десятков фигур с фонариками. Десант? Разведка?

Остановились и рассматривают дот. Немецкий язык. Видимо, идет спор — надо или не надо заходить в дот. Переговариваются и постепенно приближаются к нам, а нам уже ясно, что они проникли в наши тылы с целью захватить «языка».

Понимаю, что мы, связисты, не обученные по-настоящему рукопашному бою, можем швырнуть пять-шесть гранат, вывести из строя ну, максимум, человек десять. Двенадцать... Но их же много, и у них больше, чем у нас, гранат и владеют оружием и тактикой боя они во много раз лучше нас, связистов.

Нервы напряжены до предела.

Ближайшие наши воинские подразделения километрах в двух справа и километрах в полутора слева. Это десятый день нашего наступления. Немцы стремительно отходят без боя, и в процессе наступления наши части утратили связь друг с другом. Где-то артиллеристы и танкисты обогнали пехоту и минометчиков. Далеко не все выставили боевые охранения, спят там, где застала ночь, мертвым сном. Практически никакого переднего края нет, и есть уверенность, что немцы опять без боев отступили километров на пятьдесят.

И вот мы затаив дыхание ждем, а Хабибуллин уже связался по рации с нашим штабом и задает вопрос:

— Что нам делать?

Между тем спор между немецкими разведчиками прекращается.

В полной уверенности, что в доте никого нет, они цепочкой по одному идут на запад, в расположение наших разрозненных армейских частей.

Хабибуллин связывается по рации с соседями. Соседи принимают его сообщение, но почему-то на поиски не-

мецкого десанта не выходят, а мы стоим у входа в наш дот со своими гранатами. За нами, справа и слева от нас и впереди нас — ни одного выстрела, но мы понимаем, как все не просто. Два часа, три часа, четыре часа. Немцы появляются внезапно в пять утра, останавливаются метрах в пятидесяти от нашего дота, спорят между собой — заходить или пройти мимо? Понимаю, что на этот раз уклониться от боя нам уже не удастся. Неужели это конец?

Вот тебе и безопасная война. Сколько мы продержимся? Полчаса, час?

И ведь никто ничего не узнает.

Спустя сорок лет я тонул в Черном море. Внезапно возникший ветер уносил меня от берега, вода вокруг меня кипела, волны перехлестывали, силы кончились, а по берегу бегала моя жена, и мне было жалко, что она видит, как я тону, и, когда надежд не осталось, какое-то странное безразличие овладело мной.

Да, не бесстрашие, не страх, а безразличие и чувство долга — быть по сему.

То ли времени до утра оставалось у них мало, то ли тоже не хотелось умирать, но немцы замолчали и тихо цепочкой по одному прошли мимо, метрах в тридцати от нашего дота. Как хорошо! Все впереди!

Не могу я про войну. / С каждым годом шире фронт, / полк ушел за горизонт, / и все меньше, меньше встреч, / и язык команд неловок, / и теряет глубину / захлебнувшаяся речь / в поисках формулировок.

Я шел по просеке лесной, / а женщина, что шла со мной, / была из пыли водяной, / из музыки поры военной. / Она была обыкновенной / девчонкой с улицы Басманной, / училась в школе на Покровке, / в трофейных сапогах, в шинели, / две ленточки на рукаве. / Над спящим лесом пули пели. / Мы говорили о Москве...

Трясущиеся губы, сердце бьется, / занюют зубы. Что такое страх? Мне выразить его не удастся...

Глава 11

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ. «МАРШ» ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сентябрь 1944 года — февраль 1945 года

19 января 1945 года получил по радиации приказ снять посты, передислоцировать взвод в поселок Т. и ждать дальнейших указаний.

Три месяца назад мы уже переходили границу Восточной Пруссии.

Одна из дивизий нашей армии пробила брешь в оборонительных заграждениях на границе.

Саперы засыпали ров, разрушили пять линий заграждений из колючей проволоки и ликвидировали еще один то ли ров, то ли вал. Таким образом, в заграждениях образовалась дыра шириной метров пятнадцать, внутри которой проходила проселочная дорога из Польши в Восточную Пруссию...

Метров через сто начиналось шоссе, справа и слева лес, несколько километров — и дорога на фольварк Голлюбиен. Это был двухэтажный, крытый красной черепицей, окруженный всевозможными службами дом.

Внутри стены были украшены коврами и гобеленами XVII века.

В одном из кабинетов на стене висела картина Рокотова, а рядом и по всему дому — множество семейных фотографий, дагеротипы начала века, генералы, офицеры в окружении нарядных дам и детей, потом — офицеры в касках с киверами, вернувшиеся с войны 1914 года, и совсем недавние фотографии: мальчики с нарукавными повязками со свастиками и их сестры, видимо студенточки, и, наконец, фотографии молодых оберлейтенантов СС, затерявшихся на фронтах России, — последнего поколения этой традиционно военной аристократической семьи.

Между фотографиями висели фамильные портреты прусских баронов, и вдруг опять две картины — одна

Рокотова, а вторая Боровиковского, трофейные портреты русских генералов, их детей и жен.

Побывавшие в этом «музее» раньше нас наши пехотинцы и танкисты не остались равнодушными к охотничьему домику прусских королей: все заключенные в позолоченные рамы зеркала были ими разбиты, все перины и подушки распороты, вся мебель, все полы были покрыты слоем пуха и перьев. В коридоре висел гобелен, воспроизводящий знаменитую картину Рубенса «Рождение Афродиты из пены морской». Кто-то, осуществляя свою месть завоевателям, поперек черной масляной краской написал популярное слово из трех букв.

Гобелен метр на полтора, с тремя буквами, напомнил мне мое московское, довоенное увлечение искусством. Я скатал его и положил в свой трофейный немецкий чемодан, который уже три месяца служил мне подушкой.

Посмотрел в окно.

Фольварк, состоявший из путевого дворца и кирпичных строений служб, был окружен чугунной решеткой, а за решеткой, на зеленых лугах, сколько глаз видел, бродило, стонало и мычало невероятное количество огромных черно-белых породистых коров. Уже неделя прошла, как немцы — и войска, и население, — не вступая в бои, ушли. Коров никто не доил.

Набухшее вымя, боль, стоны. Две мои телефонистки, в прошлом деревенские девочки, надоили несколько ведер молока, но было оно горькое, и пить его мы не стали. Тут я обратил внимание на адскую возню на дворе. Кто-то из связистов обнаружил среди кирпичных строений курятник, открыл чугунные ворота, и сотни голодных породистых кур выбежали на двор. Солдатики мои словно обезумели. Как сумасшедшие, бегали и прыгали, ловили кур и отрывали им головы. Потом нашли котел. Потрошили и ощипывали.

В котле было уже больше сотни кур, а во взводе моем человек сорок пять. И вот сварили бульон и ели,

пока от усталости не свалились кто куда и не заснули. Это был вечер нашего первого дня в Восточной Пруссии.

Часа через два весь мой взвод заболел. Просыпались, стремительно вскакивали и бежали за курятник.

Утром на грузовике приехал связной из штаба роты, развернул топографическую карту.

В нескольких километрах от границы, а стало быть, от нас расположен был богатый восточнопруссский город Гольдап.

Накануне наши дивизии окружили его, но ни жителей, ни немецких солдат в городе не было, а когда полки и дивизии вошли в город, генералы и офицеры полностью потеряли над ними контроль. Пехотинцы и танкисты разбежались по квартирам и магазинам.

Через разбитые витрины все содержимое магазинов вываливали на тротуары улиц.

Тысячи пар обуви, посуда, радиоприемники, столовые сервизы, всевозможные хозяйственные и аптечные товары и продукты — все вперемешку.

А из окон квартир выбрасывали одежду, белье, подушки, перины, одеяла, картины, граммофоны и музыкальные инструменты. На улицах образовывались баррикады. И вот именно в это время заработала немецкая артиллерия и минометы. Несколько резервных немецких дивизий почти молниеносно выкинули наши деморализованные части из города. Но по требованию штаба фронта уже было доложено Верховному главнокомандующему о взятии первого немецкого города. Пришлось брать город снова. Однако немцы вновь выбили наших, но сами в него не вошли. И город стал нейтральным.

Мы бегаем за сарай.

На дворе два солдата из отдельной зенитно-артиллерийской бригады рассказывают, что уже три раза город

переходит из рук в руки, а сегодня с утра снова стал нейтральным, но дорога простреливается.

Боже мой!

Увидеть своими глазами старинный немецкий город! Я сажусь в машину с бывшим на гражданке шофером ефрейтором Стариковым. Скорей, скорей! Мы мчимся по шоссе, справа и слева от нас падают мины. На всякий случай я пригибаюсь, но зона обстрела позади. А впереди, как на трофейных немецких открытках, крытые красной черепицей, между каких-то мраморных фонтанчиков и памятников на перекрестках, остроконечные, с флюгерами домики.

Останавливаемся в центре почти пустого города.

Европа! Все интересно!

Но это же самоволка, надо немедленно возвращаться в часть.

Все двери квартир открыты, а на кроватях — настоящие, в наволочках подушки, в пододеяльниках одеяла, а на кухне, в разноцветных трубочках, ароматические приправы. В кладовках — банки с домашнего изготовления консервами, супы и разнообразные вторые блюда, и то, о чем во сне не мечталось, — в закупоренных полулитровых банках (что за технология без нагревания?) свежайшее сливочное масло. Собственного изготовления вина, и наливки, и настойки, и итальянские вермуты, и коньяки.

А в гардеробах на вешалках новые, разных размеров, гражданские костюмы, тройки. Еще десять минут. Мы не можем удержаться и переодеваемся и, как девицы, кружимся перед зеркалами. Боже, какие мы красивые!

Но время!

Стремительно переодеваемся, выбрасываем из окон подушки, одеяла, перины, часики, зажигалки. Меня сверлят мысли. Вспомнил я в этот момент, как несколько месяцев назад приехал на пять дней в Москву.

Полки в магазинах пустые, все по карточкам. Как мама обрадовалась дополнительному моему офицер-

скому пайку — банке комбижира и двум банкам американской свиной тушенки, да еще и каждому обеду, что я получал по десятидневному командировочному аттестату, где-то в офицерской столовой в Сыромятниках и приносил его домой.

А соседи по дому полуголодные.

К чему это я? А, вот. Мы, полуголодные и замученные, побеждаем, а немцы проиграли войну, но ни в чем не нуждаются, сытые.

Об этом я думал, когда со Стариковым наполнял кузов грузовика подушками, перинами, одеялами с целью раздать всем своим солдатам, чтобы хоть три ночи поспали по-человечески. Подушек-то они не видели кто три, а кто и все шесть лет.

В городе мы не одни. Подобно нам, собирают трофеи несколько десятков солдат и офицеров из других воинских частей нашей армии, и грузовиков разных систем от полуторок до «Студебеккеров» и «Виллисов» — то ли тридцать, то ли уже сорок. И вдруг над городом появляется немецкий «Фокке-Вульф» — такой вертлявый и жутко маневренный немецкий разведчик, — и уже минут через десять немецкие батареи начинают обстрел города. Стремительно трогаемся с места. Впереди и позади нас разрываются снаряды, а мы запутались в незнакомых переулках и улицах. Но у меня компас, держим курс на восток и, в конце концов, проносясь мимо наших горящих брошенных грузовиков, попадаем на шоссе, по которому приехали, снова попадаем под обстрел, но нам везет, и к вечеру мы подъезжаем к штабу своей роты.

Командиром нашей отдельной роты, вместо капитана Рожицкого, повышенного в звании и чине и отправленного в составе нескольких подразделений 31-й армии на восток, стал мой друг, старший лейтенант Алексей Тарасов. Целый год один ординарец на двоих, один на двоих блиндаж, кандидат технических наук, артист. Помню, как он издевался над крестинами начальниками.

Говорит с полковником или генералом, стоит по стойке «смирно».

— Есть, товарищ генерал!

И вдруг незаметно как-то изгибается. Это происходит в одно мгновение, и — как будто другой человек. Фигура, лицо изменяются, он как две капли воды похож на того, с кем говорит, но полный идиот: язык вываливается изо рта и болтается, урод, но абсолютно в характере. Это он пародирует армейское чванство, а иногда и тупую упрямую прямолинейность. А я вижу все, внутри поджилки трясутся от смеха, от страха за него, ведь весь спектакль устраивается для меня. Секунда — и он опять стоит по стойке «смирно», ест глазами, докладывает, и начальство ни о чем не догадывается.

Однако помнил он почти всего Блока, Баратынского, Тютчева, я ему читал свои стихи, и сколько и о чем только мы с ним не переговорили: все о себе, все о стране, все об искусстве, жить друг без друга не могли.

Наш интендант, старший лейтенант Щербаков, воровал продукты, обмундирование, менял у населения на самогонку и вино и снабжал за счет солдат роты вышестоящих командиров. Мы с Тарасовым жутко ненавидели его. Когда Тарасов стал командиром роты, он вызвал Щербакова и выложил ему все. И тот прекратил воровать, однако решил нам при случае отомстить и восстановить все как было. Кстати, было не только у нас.

Ничего не подозревая, мы замахнулись на систему. Тарасов был командиром, я по его просьбе две недели уже был командиром взвода управления...

Но возвращаюсь назад.

Попадаем под обстрел, но нам везет, к вечеру подъезжаем к штабу своей роты. Это большой одноэтажный дом.

Выбегают офицеры, телефонисты и телефонистки. Я раздаю подушки и одеяла. Восторг! Одеяла в пододе-

яльниках! Подушки! Три года спали — под голову рюкзак, накрывались шинелями, зимой оборачивали их вокруг себя. Застанет вечер в пути — разжигали костер, ложились на снег вокруг костра, впритирку друг к другу. Зима. Один бок замерзает, а бок, обращенный к костру, загорается. Будит дежурный. Переворачиваешься на другой бок, и все начинается сначала.

Я приглашаю Тарасова, Щербакова, ставлю на стол пять бутылок вина с иностранными этикетками. Пьем за победу. Расходимся, засыпаем.

В три часа ночи меня будит мой ординарец.

Срочно к Тарасову. Захожу к Тарасову, а у него Щербаков, шофер Лебедев, шофер Петров, две девушки-связистки. Оказывается, после того, как мы вечером разошлись, Щербаков, по согласованию с Тарасовым, направил в нейтральный Гольдап за трофеями моего Старикова, а с ним трех солдат и двух телефонисток. И как только они доехали до центра города, случайная немецкая мина разорвалась рядом с нашей полуторкой.

Осколками были пробиты три шины, а одним из осколков был ранен Стариков.

Темная беззвездная ночь.

Нейтральный город, по которому с осторожностью передвигаются как наши, так и немецкие разведчики.

Девушки при свете фонарика, как могли, перебинтовали бредящего Старикова, перенесли раненого в пустой двухэтажный дом напротив поврежденной нашей машины.

Двое остались с ним, а остальные — солдат и две телефонистки — пешком, после часа блужданий добрались до одной из передовых наших частей, оттуда по телефону связались со штабом роты. Дежурный разбудил капитана Тарасова, старшего лейтенанта Щербакова, которые приняли решение направить немедленно две машины в Гольдап для спасения, перевозки в госпиталь Старикова и ремонта и вывоза поврежденной нашей полуторки.

Меня Тарасов вызвал потому, что только я один знал ту единственную дорогу до разминированного прохода или проезда через границу, где метров на десять был саперами нашей армии засыпан ров и расчищен проход в шести линиях заграждения из колючей проволоки, рядом с пограничным знаком, обозначающим въезд в Восточную Пруссию.

Сажусь в машину рядом с шофером Лебедевым. У всех по два автомата и по несколько гранат. Дорогу я действительно помню. Перед городом километр простреливаемого шоссе проносимся на полной скорости. В городе темно и страшно, то и дело попадаются разбитые машины и трупы наших трофейщиков, которым повезло меньше, чем мне. С трудом, по номеру, находим нашу машину. Кричим. Из дома выходят солдат и телефонистка.

Пока Лебедев и Петров переставляют на поврежденной машине колеса, мы на всякий случай занимаем оборону в доме. Стариков постанывает. Кроме колес, машина Старикова в полном порядке. Через час можно выезжать.

Я выхожу на улицу, метрах в десяти силуэты нескольких машин. Подхожу: люди убиты, кабины и двигатели повреждены, а кузова доверху нагружены трофеями. Приказываю подогнуть наши пустые машины к разбитым и перегрузить трофеи из кузовов.

Время движется стремительно, начинает светлеть. Скорее, скорее! И вот мы на трех машинах трогаемся и по знакомым уже улицам выезжаем на шоссе. Справа и слева от нас разрываются снаряды и мины, но мы на полной скорости благополучно въезжаем в лес, затем по указателям находим полевой госпиталь, а около шести утра въезжаем во двор нашего штабного взвода. Всем спать. Ложусь на подушку, в десять часов просыпаюсь.

Около машин двое часовых. Хочу посмотреть, что мы привезли, но меня к машинам не подпускают. Нахожу

Тарасова, спрашиваю, в чем дело? А он отворачивается, потом вдруг со злым лицом, ледяным голосом:

— Лейтенант Рабичев! Кругом марш!

— Да ты что, с ума сошел? — говорю я своему лучшему другу. Но друга больше нет. Есть трофеи и Щербаков. Потрясенный, не нахожу себе места. Такого еще за всю войну не было.

Пишу рапорт — заявление с просьбой перевести меня на работу, вместо командира взвода управления, командиром линейного взвода, чтобы идти с дивизиями и полками, подальше от штаба роты и армии.

Дружбы нет — есть трофеи. Назад в Польшу.

И вот я опять со своими телефонистами и телефонисточками, с ординарцем Королевым, верхом, пешком, на попутных машинах. Три месяца. С Тарасовым отношения сугубо официальные, я смотрю на него с презрением, он отводит глаза. Бывший целомудренный мой друг, ныне закадычный собутыльник вызывающего отвращение у меня вора Щербакова. Между тем наши войска покидают Восточную Пруссию, отходят на территорию бывшего Польского коридора и на три месяца переходят в оборону. Поляки приветливы, но существование полуничтоженское. Захожу на кухню. Стены почему-то черные. Хочу облокотиться на стенку, и в воздух поднимается рой мух. А в доме — блохи. Зато у меня огромная двуспальная кровать и отдельная комната. А у старика хозяйина сохранилась память о дореволюционной России и дореволюционном русском рубле. Королев за один рубль покупает у него поросенка.

— Что же ты делаешь, — говорю я ему, — ведь это наглый обман. Он же думает, что это дореволюционный золотой рубль.

Объясняю хозяину, а он не верит мне, так и остается при убеждении, что я шучу. О, пан лейтенант, о, рубль! Вся армия пользуется ситуацией, а поляки поймут, что русские их обманывали, спустя несколько месяцев, запомнят это и не простят.

Между тем где-то в конце третьего месяца обороны Тарасов вызывает меня и, как будто ничего между нами не произошло, уговаривает вернуться в штаб роты. Дело в том, что как специалиста он ценит меня чрезвычайно, мои оригинальные предложения по совершенствованию всей системы внутриармейской связи были высоко оценены, и лично мне была объявлена благодарность в приказе по фронту, а уже получен приказ о начале наступления. Впереди снова Восточная Пруссия. Я увидел прежнего Тарасова, он обращался ко мне за помощью, дело было важное, да и долг требовал. И я согласился вернуться в штаб, снова стал командиром взвода управления.

Двое суток, лишив себя сна и отдыха, разрабатывали мы с Тарасовым восемнадцать маршрутов для каждой группы своих связистов на неделю вперед. Чтобы не попасть впросак, согласовывали планы передислокаций с генералами, начальниками штабов корпусов и дивизий, а также с командующим артиллерии армии, с отдельной зенитно-артиллерийской бригадой, последовательно ввели в курс дела командиров взводов, старшину роты. Было это для нас делом новым, на уровне даже отдельной армейской роты никогда и никем не практиковавшимся, и так красиво это было на топографических картах и на придуманных нами, с любовью выполненных графиках и в заранее сформулированных, напечатанных и заранее разосланных приказах, что чувствовали мы себя не то Бенигсонами, не то Багратионами.

Накануне наступления пригласили Щербакова и несколько часов познакомили его со своими планами. В его распоряжении было шесть крытых грузовиков, и он должен был, согласно расписанию, в намеченные пункты вовремя, стремительно перебрасывать людей, аппаратуру, кабель, радиостанции, вооружение, продовольствие.

Нам и в голову прийти не могло, что он с целью скомпрометировать нас в глазах поверившего в нас командования армии, да и во вред всему делу наступления, все переиначит.

Машины с вооружением и техникой направит он совсем не в те пункты, куда людей.

Не помню всех подробностей, но рота наша на два дня была выведена из строя, с трудом приведена в рабочее состояние и отстала от наступающих дивизий и полков километров на сто.

Дело это было, в конце концов, исправимое.

По великолепным, полностью уже разминированным дорогам, на машинах, набитых связистами, имуществом, боеприпасами и продовольствием, одной колонной, не останавливаясь, пронеслись мы по горящим городам и хуторам, через полыхающий справа и слева от нас город Инстербург. Глотая раскаленный воздух, перемешанный с дымом, с опаленными ресницами и в середине вторых суток полностью обессиленный и начинающий терять ориентировку, решил я остановиться в расположенном метрах в пятидесяти от шоссе уцелевшем немецком коттедже.

Все шесть машин и радиостанция РСБ для связи со штабами армии и фронта были в моем распоряжении. Тарасов же и Щербаков на ротном «Виллисе» отстали, и не случайно.

Щербаков с ординарцем и со своей подругой Аней захватил еще двадцатилетнюю телефонистку из штаба дивизии Риту и десятилитровую бутылку водки, и остановились они с Тарасовым в каком-то уцелевшем коттедже еще сутки назад. Вечером пили за наступление, а ночью подсунул Щербаков полупьяному Тарасову роскошную и многоопытную девицу Риту, с кем только она уже не переспала. Целомудренный, гордый и талантливый, Тарасов уже на второй день не мог без нее жить, а на пятый день он застал Риту на чердаке с лежащим на ней солдатом Сицуковым.

Но это отдельная история. По капризу природы член у шуплого дегенерата Сицукова был до колен. Фрейда никто из связисток, снайперов и медсестер не читал, но что-то все они чувствовали. Любопытство, разнужданность или что-то действительно было ирреальное, какое-то не сравнимое ни с чем в жизни ощущение, но стоило этому длинноносому, лопухому, с маленьким подбородком и отвислой губой подать знак любой в пределах моего обозрения женщине, как она тут же шла за ним и уже навсегда оставалась сраженной мечтой о Сицукове.

Бывший мой друг, мой нынешний начальник, капитан Тарасов, заставши в декабре 1944 года Сицукова на Рите, залезает на чердак немецкого коттеджа, в котором расположился наш штаб, и перерезает себе на обеих руках вены. Спас его ординарец, когда он уже был на границе жизни и смерти. Наложил повязки на руки и отвез в госпиталь. А вечером Риту вытащили из петли, на которой она уже висела, и еле-еле откачали.

Вот такие Ромео и Джульетта объявились у нас в части. Вернувшись из госпиталя, Тарасов вызвал меня и приказал зачислить Риту в мой взвод. Знал, что я со своими телефонистками сознательно не сближаюсь.

На эту тему было у нас много разговоров.

Я давно объяснил ему свою позицию. Да, нравились мне многие из них и снились ночами. Влюблялся тайно то в Катю, то в Надю, то в Аню, которые бросались мне навстречу, прижимались, целовали меня, а то и приглашали, прикидываясь, что это шутя. Но я-то знал, что это всерьез, и себя знал, что, если пойду навстречу, то уже не в силах буду остановиться, все уставные отношения полетят к чертям. На руках носить буду и не смогу уже быть уважающим себя командиром. Раз ей поблажка, то уже тогда, по справедливости, всем, а тогда как работать и воевать?

Должен сказать, что тот, прежний, Тарасов и думал, и поступал так же, как я. Но была еще одна причина.

Понимал я, как трудно было существовать этим восемнадцатилетним девочкам на фронте в условиях полного отсутствия гигиены, в одежде, не приспособленной к боевым действиям, в чулках, которые то рвались, то сползали, в кирзовых сапогах, которые то промокали, то натирали ноги, в юбках, которые мешали бегать и у одних были слишком длинные, а у других слишком короткие, когда никто не считался с тем, что существуют месячные, когда никто из солдат и офицеров прохода не давал, а были среди них не только влюбленные мальчики, но и изощренные садисты.

Как упорно они в первые месяцы отстаивали свое женское достоинство, а потом влюблялись то в солдатика, то в лейтенантика, а старший по чину подлец офицер начинал этого солдатика изводить, и в конце концов приходилось этой девочке лежать под этим подлецом, который ее в лучшем случае бросал, а в худшем публично издевался, а бывало, и бил. Как потом шла она по рукам, и не могла уже остановиться, и приучалась запивать своими ста граммами водки свою вынужденную искаленную молодость...

Так человек устроен, что все плохое сначала забывается, а впоследствии романтизируется, и кто вспоминать будет, что уже через полгода уезжали они по беременности в тыл, некоторые рожали детей и оставались на гражданке, а другие, и их было гораздо больше, делали аборты и возвращались в свои части до следующего аборта.

Были исключения. Были выходы.

Самый лучший — стать ППЖ, полевой женой генерала, похуже — полковника (генерал отнимет)...

В феврале 1944 года до генералов штаба армии дошел слух о лейтенанте-связисте, который баб своих, выражаясь современным языком, не трахает.

А несколько ППЖ упорно изменяли своим любовникам-генералам с зелеными солдатиками. И вот по при-

казу командующего армии моему взводу придается новый телефонный узел — шесть проштрафившихся на поприще любви телефонисток, шесть ППЖ, изменивших своим генералам: начальнику политотдела армии, начальнику штаба, командующим двух корпусов, главному интенданту и еще не помню каким военачальникам.

Все они развращены, избалованы судьбой и поначалу беспомощны в условиях кочевой блиндажной жизни.

Начальником их я назначаю абсолютно положительного человека богатырского сложения, на все руки мастера, старшего сержанта Полянского. Знаю, как он тоскует по своей жене и четырем дочерям. Помощником ему — пожилого семьянина Добрицына. Вдвоем они копают блиндаж. Рубят деревья. Нары в два яруса, три наката, железная бочка — печь, стол для телефонных аппаратов, стойка для автоматов, гильзы от снарядов, патроны, гранаты. Все деревни вокруг сожжены, все приходится делать своими руками.

Девчонки-матерщинницы, но многоступенчатый хриплый мат Полянского покоряет и умиротворяет их. Проходит неделя, вроде миссию свою они выполняют, но в каких условиях? Как сложились отношения? И я еду и познакомиться, и проверить их профессиональную пригодность, да и любопытно посмотреть, говорят, что красавицы.

Еду верхом километров двенадцать по фашинской дороге, проложенной армейскими саперами через непроходимую и непрерывную сеть болот. Справа и слева чахлый березняк, вода.

Каждые сто метров разъезд — небольшая бревенчатая платформа, напоминающая чем-то плот. Каждое бревно длиной метра два с половиной, скреплено стальными канатами с соседним передним и соседним задним, а по бокам — вертикальные фиксирующие бревна, глубоко входящие в лежащие под слоем воды и ила твердые пласты земли. И разъезды, и дорога проложены по глубо-

ким болотам, по трясине. Съезжать с дороги нельзя — оступишься и уже не выберешься. А в нагретом воздухе комары, гнус, стрекозы. Довольно неприятно ожидать на переезде, пока очередная встречная машина пройдет. Лошадь пугается, не стоит смиренно.

Натянешь уздечку — начинает пятиться назад, то и дело приходится слезать. Однако цепь болот кончается. По проселочной дороге, выше, выше, вынимаю компас, смотрю. По карте четыреста метров на запад от бывшей деревни.

Действительно, на холме девчонка с автоматом.

О своем выезде я сообщил по телефону, и меня ждут.

Из блиндажа выходит Полянский, докладывает, выбирают пять девчонок.

Я слезаю с лошади. Ирка Михеева, что во взводе моем побывала уже за два года дважды, бросается мне навстречу, целует и повисает на шее. Это и немного хулиганство, и желание показать соратникам, что мы друзья. Давно она равнодушна ко мне, но я прячу свое удовольствие от публичного этого свидания с ней. Еще под Ярцевом, год назад, звала она меня в ближайший лесок:

— Пойдем, лейтенант! Почему, б..., не хочешь меня?

— Не могу я, Ирина, и не хочу изменять невесте своей, — говорю я, а самого чуть не лихорадка бьет, и она с сомнением покачивает головой:

— Чудак ты какой-то.

Спускаюсь по лесенке в блиндаж.

Девчонки наташили откуда-то перины, подушки, одеяла. Проверяю автоматы, все смазаны, в порядке, в телефонных аппаратах уже тоже разбираются. Научил их Полянский и как линию тянуть, и как обрывы ликвидировать, и как батареи или аккумуляторы менять.

Постреляли по пустым консервным банкам. Молодец Полянский — и этому научил.

Вечером рассказываю, что делается на фронтах и в мире, а они без стеснения — кто, как и с кем крутил ро-

маны, о ком — с сожалением и любовью, о ком с омерзением.

Наверху пустые нары, сосновые бревнышки, покрытые слоем еловых веток, расстилаю плащ-палатку, хочу забраться, а на нижних нарах подо мной Ирка, гимнастерку и юбку сбросила, и трусики, и чулки снимает.

— Лейтенант, — говорит, — на бревнах не заснешь, иди, б..., ко мне спать!

Мне двадцать один год, я не железный и не каменный, а Полянский добавляет масла в огонь:

— Что будешь на бревнах маяться, иди к Ирке.

В глазах потемнело от волнения. Проносится мысль: «На глазах у всех?»

А тут Аня Гуреева, на гражданке на балерину училась, изменила начальнику штаба армии с моим радистом Боллотом, подкралась сзади, обняла и на ухо:

— Не к Ирке иди, а ко мне!

— Девчонки, е... вашу мать, перестаньте, б..., дурить! — И вырываюсь из горячих рук, подтягиваюсь на руках, и на свою плащ-палатку, на ветки, на шинель. А сердце бьется, и в мыслях полный кавардак. И что я как евнух, да пропади все пропадом, посчитаю до двадцати — если Ирка опять позовет, то пусть хоть весь мир перевернется — лягу и соединю свою жизнь с ней.

Но мир не переворачивается. Досчитал до двадцати, а она уже спит, намаялась на дежурстве и заснула мгновенно.

До утра мучаюсь на бревнах. Что перед моими искушения святого Антония?

В шесть утра уже светло. Выхожу из блиндажа. Полянский просыпается и помогает мне оседлать лошадь. Меня пожирает тоска, гоню по фашинской дороге, через три часа выезжаю на Минское шоссе и попадаю под минометный обстрел, но обстрел этот не прицельный, мины падают метров в сорока от меня, пара осколков проносится мимо. Напротив пост Корнилова, там, в блиндаже, одни мужики и ни одного труса. До

немцев метров восемьсот. Третий месяц они работают в этом блиндаже.

Тут и мины и снаряды разрываются, то и дело обрывается связь, и приходится выходить на линию, но пока все живы, Бог миловал. Встречают меня радостно, но я, как подкошенный, валюсь на нары и засыпаю.

Прошло шестьдесят пять лет.

Мне бесконечно жалко, что не переспал я ни с Ириной, ни с Анной, ни с Надей, ни с Полиной, ни с Верой Петерсон, ни с Машей Захаровой.

Полина бинтовала мне ноги, когда в декабре 1942 года я из училища прибыл в часть с глубокими гноящимися дистрофическими язвами, мне было больно, но я улыбался, и она бинтовала и улыбалась, и я поцеловал ее, а она заперла дверцу блиндажа на крючок, а меня словно парализовало. Так и просидели мы, прижавшись друг к другу, на ее шинели часа три.

С Машей Захаровой шел я пешком по какому-то неотложному делу, и не заметили мы, как день кончился, и зашли в дом к артиллеристам, попросили разрешения переночевать, расположились на полу, я постелил свою шинель, а Машиной шинелью накрылись. Милая тоскующая девушка Маша внезапно прижалась ко мне и начала целовать меня. За столом у телефонного аппарата сидел дежурный сержант, и мне стало стыдно отдаться пожирающему меня чувству на глазах у сержанта.

Что же это было такое?

16 октября 1944 года

«Несколько дней назад вошли в Литву. В Польше население довольно сносно говорит по-русски. В Литве все чернее. И полы немытые, и мухи скопищами, и блохи пачками. Однако мне кажется, что через несколько дней все это окажется далеко позади... Правда, спать теперь приходится очень мало... Приближается новая годовщина. Где придется справлять ее? Впереди Алленштейн. По

соседству со мной стоит немного рано прибывшая часть. Ей приказано расположиться в Кёнигсберге. Счастливого ей пути!

Сегодня я получил зарплату польскими деньгами из расчета за один рубль — один злотый...»

20 декабря 1944 года (письмо от мамы)

«Дорогой Ленечка! Четвертая годовщина наступает, а война все тянется. Мы оба мечтаем Новый, сорок пятый год отпраздновать вместе с тобой, но придется терпеливо ждать. Родной мой! Проявляй бдительность и осмотрительность.

Зарвавшийся зверь бешеный, злодейства свои не прекращает, а мы будем и в дальнейшем надеяться, что скоро всем бедствиям наступит конец, что мы обязательно встретимся. Пока продолжаем писать письма.

Это единственное удовольствие. Нового у нас ничего, письма, кроме твоих, также не получают. Ты пишешь, что у вас грязизище, а у нас зима крепкая стоит с ноября. В декабре было 23 градуса мороза, но погода хорошая, много солнца.

В квартире у нас значительно лучше, чем в прошлые зимы, — 10—12 градусов тепла, а это уже терпимо, а если закрывать кухню — то совсем тепло. 31 декабря я выпью за твоё здоровье (мне-то пить нельзя, но за твоё здоровье выпью). Обнимаю и целую крепко, твоя мама».

Глава 12

«МАРШ» ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Февраль 1945 года

Восточная Пруссия. Именно тогда возникло странное явление, сведений о котором ни в художественной, ни в мемуарной литературе я не встречал.

В результате кровавых, бескомпромиссных и непрерывных боев как наши, так и немецкие подразделения

потеряли более половины личного состава и от крайней, ни с чем не сравнимой усталости начали терять боеспособность.

Черняховский приказывал наступать, генералы — командующие армиями, корпусами и дивизиями приказывали, Ставка сходила с ума, все полки, отдельные бригады, батальоны и роты топтались на месте. И вот, дабы заставить измученные боями части двигаться вперед, штаб фронта приблизился к передовой на небывало близкое расстояние, штабы армий располагались почти рядом со штабами корпусов, а штабы дивизий приблизились вплотную к полкам. Генералы старались поднять батальоны и роты, но ничего из этого не получалось. И вот наступили дни, когда как наших, так и немецких солдат охватила непреодолимая депрессия. Немцы километра на три отошли, а мы остановились.

Стояли солнечные весенние дни, никто не стрелял, и впечатление было, что война окончилась, а командование словно обезумело. Видимо стараясь выслужиться, мой командир Тарасов приказал мне с частью взвода, с новой американской радиостанцией СЦР (номер забыл), с радиусом действия до ста километров, передислоцироваться ближе к переднему краю. Сборная мачта обеспечивала отличную работу.

На этой стадии наступления никто не пользовался ни шифрами, ни морзянкой. Все приказы шли открытым текстом, и эфир наполнен был многоярусным хриплым матом небывалого напряжения. А солдаты спали, и разбудить их было невозможно. Просыпались, болтали о своих довоенных похождениях, о не успевших эвакуироваться немках.

Котлов удивлялся. Заходишь в дом, и ни слова еще не сказал, а немка спускает штаны, задирает юбку, ложится на кровать и раздвигает ноги. И опять радист приносит приказ о наступлении. Надо обеспечить связью зенитно-артиллерийскую бригаду.

Шесть километров.

Траутенау.

Уже вечер. Подъезжаем к крайнему дому. Там наши артиллеристы, но совсем не из нашей бригады и даже не из нашей 31-й армии.

Селение — домов двадцать. Сержант-артиллерист говорит, что расположиться можно либо в первом слева доме, либо напротив. В остальных — фрицы, какая-то немецкая часть.

Пересекаем улицу. Дом одноэтажный, но несколько жилых и служебных пристроек, а у входа тачанка — трофейная немецкая двуколка, колеса автомобильные, на подшипниках. Лошадь смотрит на нас печальными глазами. На сиденье лежит мертвый, совсем юный красноармеец, а между ног черный кожаный мешок на застежках.

Я открываю мешок.

Битком набит письмами из всех уголков страны, а адрес один и тот же — воинская часть п/я № 36781. Итак, убитый мальчик — почтальон, в мешке — дивизионная полевая почта.

Снимаем с повозки мертвого солдата, вынимаем из кармана его военный билет, бирку. Его надо похоронить. Но сначала заходим в дом. Три большие комнаты, две мертвые женщины и три мертвые девочки. Юбки у всех задраны, а между ног доньшками наружу торчат пустые винные бутылки. Я иду вдоль стены дома, вторая дверь, коридор, дверь и еще две смежные комнаты. На каждой из кроватей, а их три, лежат мертвые женщины с раздвинутыми ногами и бутылками.

Ну, предположим, всех изнасиловали и застрелили. Подушки залиты кровью. Но откуда это садистское желание — воткнуть бутылки? Наша пехота, наши танкисты, деревенские и городские ребята, у всех на родине семьи, матери, сестры.

Я понимаю — убил в бою. Если ты не убьешь, тебя убьют. После первого убийства шок, у одного озноб, у другого рвота. Но здесь какая-то ужасная садистская игра, что-то вроде соревнований: кто больше бутылок воткнет, и ведь это в каждом доме. Нет, не мы, не армейские связисты. Это пехотинцы, танкисты, минометчики. Они первые входили в дома.

Приказываю пять трупов перенести из первых комнат в дальние, кладем их на пол друг на друга. Располагаемся в первых, и тут сержант Лебедев предлагает вытащить из сумки, на счастье, по одному письму — кому что достанется. Я вытаскиваю свой треугольник. Читаю, понимаю, что мне, кажется, повезло.

Из города Куйбышева восемнадцатилетняя девочка Саша пишет незнакомому Ивану Грешнову, двоюродному брату подруги, что хочет с ним познакомиться и начать переписку.

Сажусь за стол и пишу письмо, тоже треугольник, Саше. Про двуколку, убитого почтальона, как вытащили по одному письму — кому что достанется, и как раз ее письмо досталось мне — не Ивану, а Леониду. Рассказываю о превратностях войны, о трупах в доме, о себе.

Через две недели получаю ответ, восемнадцать лет, окончила в Ленинграде два курса техникума, поступила на завод, который был эвакуирован в город Куйбышев, который для фронта изготавливает снаряды, читает, ходит в клуб на танцы, но ни мальчиков, ни мужиков почти нет, девочки танцуют с девочками и т. д.

Но это все потом, спустя две недели. А сейчас восемь вечера, на столе две гильзы, полумрак, кто на кровати, кто на стульях, кто на полу. Треп. Внезапно Осипов обнаруживает патефон и пластинки. Фокстрот. Нас шесть мужиков и три девчонки-телефонистки. Усталость как рукой снимает, и мы все начинаем танцевать...

— Пошли, лейтенант, — говорит мне Надя Петрова и кладет мне на плечи руки.

Месяц назад ее из запасного полка направили в мой взвод. В большой комнате польской избы — столы с телефонными аппаратами, на полу радиостанция, стойка для автоматов, ящики для патронов и гранат, кровати, на которых по двое спали мужики. Угол комнаты отгородили для себя три девчонки, поставили поперек шкаф и вход завесили скатертью, а для меня мой ординарец Королев оборудовал кабинет, два на два метра, стол, кровать, книжная полка. Я расставил книги, снял сапоги и португую, расстегнул воротник, накрылся шинелью и уже засыпал, когда солдатики мои решили подшутить надо мной, а вернее, снять с меня вот уже второй год тяготивший меня ореол целомудрия и с согласия Нади, которой я явно нравился, впихнули ее в мою комнатку. Кто-то подставил ей ногу, и она свалилась на меня.

Мы встретились глазами, я обнял ее, и она начала целовать меня. Она мне очень нравилась: что-то вроде любви с первого взгляда. Естественность поведения, невысокая широкоскулая красивая деревенская девушка, она окончила десять классов и ушла на фронт из патристических соображений, прошла через все круги армейского ада, была уже близка то ли с кем-то из солдат, то ли с каким-то офицером, но сохранила чувство собственного достоинства, прекрасно могла отстоять себя от назойливых приставаний и так заразительно смеялась, что никто вокруг не мог удержаться.

Да, я о ней мечтал, и она пришла ко мне, и готов уже был я безоглядно соединиться с ней, но оторвался, поднял голову — шесть ослабившихся пар глаз смотрели на нас сквозь приоткрытую дверь. Я попросил Надю лежать и не двигаться и попросил их закрыть дверь, а они хохотали, и я не могу повторить их слов.

Так мы и заснули на одной кровати, не прикоснувшись друг к другу, а на рассвете меня разбудил радист. Начиналось наступление.

И опять назад, к почтовому мешку.

Я танцую с Надей, а она прижимается ко мне, потом говорит:

— Давай выйдем на улицу.

Мы выходим и, не сговариваясь, направляемся ко второй двери, в комнату, наполненную трупами. Снимаем с кровати двух мертвых женщин, стремительно раздеваемся.

Но дверь с грохотом отворяется, замок пополам, и в комнату вваливаются танкисты из подъехавшего нашего танка. К трупам им не привыкать, на нас им наплевать, они устали и решили заночевать именно в этой комнате.

Ведь соседние дома занимали немцы, а стрелять они были уже не в силах.

Я уговариваю Надю остаться со мной, но она вовсе не потеряла чувства стыдливости и стремительно одевается. Я тоже.

Я еще не знаю, чего ждать от танкистов, и на всякий случай сжимаю рукоятку нагана. Опять у нас ничего не получилось.

Не везет в любви — повезет в стихах.

Утром сержант Лебедев залезает по приставной лестнице на чердак и, как ужаленный, скатывается вниз.

— Лейтенант, — говорит он мне почему-то шепотом, — на дворе фрицы.

Я на чердаке, подхожу к окну, а на дворе соседнего дома, прямо подо мной, человек сорок немцев в трусах загорают на солнце. Рядом с каждым обмундирование, автомат, кто-то сидит, курит, кто-то играет на губной гармошке, кто-то читает книжку...

— А что, если их всех закидать гранатами? — спрашивает меня Лебедев.

Считаю: нас девять, артиллеристов пять. А сколько немцев в соседних домах, что за часть, что у них на вооружении?

По рации сообщаю об обстановке, жду указаний, но никаких указаний не поступает.

Немцы нас уже заметили, но ни стрелять, ни одеваться не собираются. Солнце и какая-то жуткая лень. А мы сидим в своем доме с автоматами и гранатами и ждем указаний.

15 марта 1945 года

«Леонид Николаевич! Сегодня получила Ваше письмо, за которое благодарю от всего сердца. Как странно! Писала неизвестному мне Грешнову, а получила от Рабичева. Как же я рада, что письмо мое не осталось без ответа.

Леонид Николаевич! Я не знала, как развоятся письма на фронте, теперь же получила представление о пропадающих письмах, о том, что с пропавшим письмом пропадет и почтальон, правда, я не имею представления о канонадах, о рвущихся минах, всю войну я живу далеко в тылу.

1 июля 1941 года я поступила в Ленинграде на завод, а 1 августа уже была вместе с ним в Казани.

Очень не хотела уезжать из Ленинграда в такие дни, но знала, что нарушать дисциплину нельзя. Так, семнадцатилетней девчонкой, я оказалась вдали от родителей.

Сначала было очень трудно.

В Ленинграде я училась в механико-конструкторском техникуме, успела окончить всего два курса, помешала война. Не думала, что придется так надолго забросить учебу. На заводе сначала работала по специальности сборщицы авиаприборов. Потом начали строить холодильные камеры. Я была оформлена как будущий машинист холодильника. Строили пять месяцев. При зарядке я уже была знакома с этой сложной работой. Сейчас трудностей нет. Вот и вся моя биография.

Война всех людей переделала в лучшую сторону. Очень жду часа, когда поеду в Ленинград, когда снова придется встретить маму, родных, знакомых, друзей.

Ведь не все же погибли.

Вот вкратце мое прошлое и настоящее.

Всего не напишешь, что было и что есть. У Вас, я думаю, и было и есть все интереснее моего. Поделитесь со мною. Скоро разольется Волга, буду ходить смотреть на нее. Леонид Николаевич! Пишите о себе, я буду очень рада.

Прочитав свое письмо, невольно удивилась его нескладности, но переписывать не люблю, получится еще хуже. С горячим приветом, Саша.

Р. С. Самого главного и не написала — год рождения 1924».

Конец письма Саши 18 апреля 1945 года:

«Леня! Вчера вечером я получила твое письмо, а ночью я видела сон о тебе. Я немного поверила в него. Леничка! Ты пишешь, «что кругом зажурчала, запела вода... Теперь от любви никуда не уйти...» и т. д. Ежедневно идет сильный снег, мокрый. В такую погоду никуда не хочется идти, и радость представляет полученное письмо, за которое тебе спасибо, романтический «мальчик».

Леничка! Пиши, я очень жду твоей весточки. Будь здоров, родной! С приветом, Саша.

Пишу на «ты», так будет ближе».

Переписка с девочкой из Казани Сашей совпала с последними жесточайшими боями в Восточной Пруссии, переброской 31-й армии на 1-й Украинский фронт, на Данцигское направление, в Силезию, и с первыми неделями мира. Может быть, драматичность событий и подсознательное ощущение возможности внезапного обрыва жизни привели к мысли, что это — последняя любовь. И Саша это почувствовала. Переписка наша, наша, как теперь бы сказали, виртуальная любовь продолжалась около двух месяцев, и конец ее, так же как и внезапный конец, а вернее, обрыв возникшего между нами чувства, желания встретиться после войны, наступил внезапно и немотивированно, через полмесяца после

окончания войны. Мы обменялись фотографиями, договорились, что после демобилизации я приеду в Казань. Писали друг другу два раза в неделю, мечтали и строили планы будущей жизни. И вдруг в ответ на последнее мое письмо я получил грубое, наполненное угрозами и фрагментами невоспроизводимой лексики письмо от нового знакомого Саши. Я подумал, что это если не шутка, то ошибка, написал второе письмо и через неделю получил новое письмо. Это была уже угроза в случае моего приезда лишить меня жизни.

А Саша молчала.

Война закончилась через двадцать дней.

После демобилизации я написал последнее письмо, но оно вернулось в Москву с отметкой, что адресата в Казани больше нет...

Глава 13

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

В феврале 1945 года я по распоряжению заместителя командующего артиллерией двое суток обеспечивал связью зенитно-артиллерийскую бригаду, расстреливавшую прямой наводкой немецкие танки.

Когда мы вышли на побережье залива Фриш-Гаф, впереди было море, на горизонте — коса Данциг—Пилау. Весь берег был усыпан немецкими касками, автоматами, неразорвавшимися гранатами, банками консервов, пачками сигарет и зажигалок.

Вдоль берега на расстоянии метров двухсот друг от друга стояли двухэтажные коттеджи, в которых на кроватях, а то и на полу лежали раненые, недобитые фрицы. Одни отчужденно, другие безразлично, молча смотрели на нас. Ни страха, ни ненависти, а тупое безразличие просматривалось на их лицах, любой из нас мог поднять автомат и перестрелять их. Но от недавно еще сидящей в нас щемящей ненависти ничего не осталось. Созна-

тельно или бессознательно они демонстрировали свою беззащитность и опустошенность.

В это мгновение не только до моего сознания, но и сознания многих тысяч офицеров и бойцов моей армии дошла мысль, что война на нашем направлении окончена, и по какому-то невероятному совпадению все, кто мог и у кого было не важно какое оружие, начали стрелять в воздух. Автоматы, пистолеты, минометы, танки, самоходки. Тысячи ракет, трассирующих пуль, смех, грохот минут пятнадцать. Это был первый в нашей жизни наш свободный, счастливый салют победы. Потом появились флаги и бутылки со спиртом.

Смялись, плакали, пили и вспоминали.

Никто никуда больше не торопил нас. У меня явилось желание на попутной машине подъехать к Кёнигсбергу, хоть одним глазом, хоть десять минут посмотреть на один из самых красивых городов Европы, тем более что одно из отделений моего взвода было придано к одной из дивизий, штурмующих Кёнигсберг. Но к сожалению, ничего из этого не получилось.

Хотя бои шли в центре города, окруженные одиночные немцы могли быть за каждым углом, дым слепил, летели пули. Я сошел с попутной машины, тотчас исчезнувшей в дыму, прошел метров двадцать.

Выскочивший из-за угла дома сержант дико заорал на меня:

— Почему не нагибаешься, нагнись и бегом за угол — там немцев нет!

Над головой пролетела пуля, я побежал. За углом дома были наши артиллеристы. Почти ничего не было видно. Здания были повреждены, но не абсолютно.

Ни европейского города, ни своих связистов я не увидел, только стены с выбитыми окнами и горящие чердаки. И я побежал назад и на попутной машине, живой, возвратился в свою еще праздновавшую победу часть.

Спустя несколько дней я получил по радиации команду собрать свой взвод и своим ходом, то есть на своем гужевом транспорте, на восьми подводах и верхом возвращаться по пройденным недавно дорогам в стоящий на железной дороге город Цинтен.

С удивлением смотрели мы на еще две недели назад полные женщин, стариков и детей, абсолютно опустевшие села и города. Мертвая земля.

6 мая 1945 года я получил по радиации приказ снимать все линии связи, собрать свой взвод в селении Неерланд, расположенном в шести километрах южнее города Левенберг, где временно был расположен штаб 31-й армии и штаб моей армейской роты. В трех километрах от этого Неерланда, вдоль разминированного шоссе, проходила постоянная обесточенная высоковольтная линия.

Чтобы сэкономить силы и время, я залез на одну из мачт и подключил один из телефонных проводов к одному из обесточенных проводов этой высоковольтной линии, а другой — заземлил.

К удивлению своему, я обнаружил, что не один я такой умный. И отдельная артиллерийская бригада, и несколько других наших подразделений уже проделали то же самое и уже в Левенберге вышли на штабной армейский коммутатор. С другой стороны, к этой же обесточенной постоянке оказались подключены и противостоящие нам вражеские подразделения. Русская речь, приказы, болтовня перемешивалась с немецкой, как всегда, линия содержала многоэтажные родные наши матерные построения.

Ругались номера первые со вторыми, какая-то телефонистка «Я Заря» с телефонисткой «Я Неман», полковые телефонистки с дивизионными, корпусными и армейскими. Девочки проделывали это не хуже генералов и майоров.

К вечеру весь мой взвод был уже в сборе. Недалеко от нас, на холмах, маячили развалины двух средневековых замков.

Рано утром 6 мая именно по этой интернациональной линии я получил приказ к вечеру свернуть все работы и передислоцировать взвод южнее километров на двадцать. Я развернул карту.

Несколько шоссейных дорог, пересекаемых целой сетью перпендикулярных, вели к указанному пункту. Я выбрал кратчайшую.

Через два часа мы подъехали к трассе, по которой непрерывным потоком двигалась на юг наша армия: танки, самоходки, артиллерия, мотопехота, кавалерия, конная тяга. Справа, в конце выбранного мной шоссе, на пьедестале стояла деревянная раскрашенная Мадонна.

Кажется, мы выиграли часов шесть, но метрах в ста от трассы немцы установили в шахматном порядке противотанковые мины, не только на нашем шоссе, но и справа, и слева от него, и вдоль всей трассы, по которой наступала армия.

Головки мин не были замаскированы. Расстояние от одной до другой было метра полтора.

У нас было семь груженных повозок и четырнадцать лошадей. Я прошел туда и обратно по заминированному участку шоссе, противопехотных мин не было, противотанковые — просматривались.

Пешком выйти на трассу не представляло никакого труда и не сулило никакой опасности.

Разгрузить подводы, перенести их на руках, перенести на руках грузы, технику, наконец, по одной перевести всех лошадей. Полчаса — и мы на трассе.

Я приказал разгружать телеги и распрягать лошадей.

Но сорок пять человек, весь мой взвод, стояли с опущенными глазами и не двигались и словно меня не слышали. Я поименно попросил подойти ко мне самых честных, смелых, дерзких, самых любимых моих сержантов, радиста Талиба Хабибуллина, моих бывших ординар-

цев Гришечкина и Королева, смелого, широкодушного и лихого старшего сержанта Михаила Корнилова.

— Лейтенант, — сказал Корнилов, — мы все тебя любим, и полгода назад, безусловно, сделали бы все это, но через месяц кончится война, и мы все живыми вернемся домой, а если понесем телеги и кто-нибудь споткнется или лошадь встанет на дыбы, рванется в сторону или брыкнет кого-нибудь, и тот не удержится на ногах, и хоть одна мина взорвется, и тогда не исключено, что раненые или убитые, кто-нибудь из нас выронит телегу, радиостанцию на другую мину... Лейтенант! Мы все хотим жить, и никто из нас рисковать не будет.

Я вытащил из кобуры наган и направил на Корнилова, но он уже снял предохранитель с автомата, направил автомат на меня и сказал:

— Лейтенант! Спрячь наган, если ты выстрелишь в меня, то, прежде чем я умру, я убью тебя, не делай глупости!

Я любил Корнилова, Корнилов любил меня, минуту мы стояли друг против друга. Мне было горько, первый раз за всю войну взвод отказался выполнять приказание.

Я был уверен в своей правоте и не ожидал, что дело примет такой драматический оборот. И я сдался, спрятав наган в кобуру, а Корнилов повесил на плечо свой автомат.

Хабибуллин засмеялся. На всех и на меня тоже напал приступ истерического смеха. Смеялись от радости, что выход был найден, от нелепости ситуации, от того, что невозможно было понять, кто прав, а кто не прав, смеялись до тех пор, пока из глаз не потекли слезы.

Я вынул из планшета карту — десять километров назад, пять в сторону другого шоссе, по которому двигались артиллеристы 256-й дивизии. Утром 7 мая 1945 года мы выехали на трассу.

На перекрестке дорог стояла деревянная крашенная Богоматерь с младенцем Христом.

Приказал развернуть радиостанцию, связаться с командиром роты, получить необходимую информацию. Двадцать четыре часа в движении, без горячей пищи, лошади устали, люди нуждаются в отдыхе.

— «Волга», «Волга», как слышите меня, я «Неман», прием.

— «Неман», я «Волга», слышу хорошо, разрешаю отдохнуть три часа, в девять ноль-ноль продолжить движение по шоссе, на котором находитесь. Двигаться до перевала через Карпаты, выходить на связь через десять часов.

Распрягаем и кормим лошадей, люди располагаются кто где. Дежурные каждые полчаса сменяются, я засыпаю, сидя на своей трофейной двуколке.

Солнце начинает припекать. Сержант Корнилов трясет меня за плечо:

— Лейтенант! К нам приближаются какие-то люди, вроде гражданские немцы.

Просыпаюсь, смотрю — два высоких и толстых господина во фраках, шляпах и один низенький в крагах и кепке. Низенький — поляк, переводчик.

— Господин лейтенант, — переводит низенький, — новый мэр города просит вас посетить его, встретиться с революционным комитетом города. Мэр ждет от вас указаний, как быть дальше, битте!

Ничего не понимаю. Переводчик объясняет:

— Вчера в городе произошла социалистическая революция. Мы хотели доложить командованию вашей армии, час назад на машине представители мэра выехали из города, но какая-то ваша воинская часть реквизировала машину и еле отпустила наших представителей. Мэр просит вас, господин лейтенант!

Протираю глаза.

Действительно, то ли туман был, то ли от усталости мы не заметили окраины этого расположенного от шоссе в полутора километрах городка.

Но все так неправдоподобно. А отказать как-то неудобно. И вот я беру с собой Корнилова и Кузьмина, на всякий случай с автоматами и гранатами, и иду в этот непонятный город, в эту непонятную ситуацию.

Мадонна, улица, кирха, напротив — ратуша.

У входа снимают шляпы и низко кланяются нам несколько очень толстых, очень пожилых, очень важных немцев. Переводчик приглашает нас.

Картина, которая открывается мне, напоминает немую сцену из «Ревизора» Гоголя.

Около двадцати жирных, краснолицых волнующихся чиновников во фраках, галстуках выстроены в шеренгу по росту, а перед ними крошечный, кожа и кости, сгорбленный, едва живой, но тоже в черном фраке человечек, и переводчик говорит, что это новый мэр, что это известный профессор, еврей, освобожденный вчера восставшим народом из концентрационного лагеря.

Мэр начинает говорить, руки у него трясутся, но глаза внезапно загораются, все, что происходит, он принимает всерьез, по лицу его текут слезы.

— Свобода! Революция! Не могу ли я утвердить манифест, написанный им?

Мне стыдно, смешно и страшно. С трудом объясняю им, что не уполномочен, что никуда не надо ехать, что назначен, по-видимому, будет военный комендант их города.

Я ничего не могу им сказать, я не знаю, что им грозит, кто они. Революцию же я приветствую. В душе я совсем не уверен, что война для них окончена, но они улыбаются, и я улыбаюсь.

Время истекло. Мы в движении.

Города, городки, фольварки, поселки отличаются друг от друга только размерами.

Посмотришь — вроде ты отсюда не уезжал, проедешь еще десять километров — посмотришь...

Вот и опять город, ровные, как по линейке, улицы, островерхие, крытые черепицей коттеджи, готический шпиль с вращающимся петухом.

Как тени, двигаются по улицам люди...

Шоссе. Слева и справа на холмах средневековые замки немецких баронов.

Впереди горная гряда, вершины гор покрыты снегом, дорога начинает, петляя, набирать высоту.

Справа, на дне пропасти, горная речка, слева — камни и сосны. Подъем продолжается уже два часа, а конца ему не видно. Еще час — и лошади выдыхаются.

Нагруженные до предела повозки.

— Осторожно! Держись правой! Правей, черт возьми!

Мимо нас с грохотом пролетает и падает в пропасть нагруженная ящиками двуколка. А над нами необычайно синее, без единого облачка небо.

Гул от подков сливается с гулом голосов, уносится в пропасть и снова возвращается оттуда. Люди тщетно стараются перекричать природу.

Все туже закручивается спираль дороги, все чаще останавливаются лошади. На них жалко смотреть. От крайнего напряжения, кривые и острые на боках, проступают ребра, большие жалобно-тоскливые глаза, ноги дрожат, как в лихорадке и на ушах капельки пота.

Повозки наши нагружены до предела, и кажется, что лошади не в силах не только тащить их вверх, но и просто удержать.

Валим несколько молодых деревьев, обрубаем ветки, очищенные стволы то и дело вставляем в колеса, заклиниваем их, но этого недостаточно, приходится помогать лошадям. Подталкиваем каждую телегу вчетвером, обливаемся потом, то и дело останавливаемся. Чем выше мы поднимаемся, тем становится прохладнее, но солдаты моего взвода окончательно выбиваются из сил.

А я с сержантом Богомоловым сижу на моей трофейной двуколочке. Воротник расстегнут, фуражка набек-

рень, удивительное счастье: горы, пропасти, мой взвод, мои любимые мужики и девчонки.

До перевала пять километров, а дальше вниз, и опять вставлять палки в колеса повозок, чтобы они не разогнались и по инерции не сбросили лошадей в пропасть. Моя лошадь легко справляется с моей трофейной двуколочкой.

Вспоминаю, как я с тем же Богомоловым три недели назад получил приказание наладить связь с зенитчиками, которые прямой наводкой стреляли по немецким танкам. Надо было найти их и проложить линию связи на наблюдательный пункт командующего дивизии.

Пункт, на котором располагались зенитные батареи, был обозначен на моей топографической карте в виде красного кружка, и оставалось до него всего-то километра четыре, но неожиданно дорога уперлась в трехметровый вал. Мы не знали, что по другую сторону его, в десяти метрах от нас, окопались немецкие минометчики.

Наше появление на валу было неожиданным для немцев, сотни глаз устремились на нас, сотни автоматов поднялись в воздух.

Мы не просто упали, мы, схватившись друг за друга, кубарем скатились с насыпи, взобрались на двуколку, рванулись назад, но в то же мгновение десятки немецких мин разорвались вокруг нас. И мне, и лошади повезло, а Богомолу не очень — один из осколков попал ему в лицо, в кость между глазом и бровью. Через минуту мы были уже вне зоны обстрела. Я выхватил у Богомолова вожжи, а он закрыл лицо руками, но сквозь пальцы пробивались струйки крови.

Я мчался по шоссе, увидел указатель с красным крестом — триста метров до полевого госпиталя, сдал его санитарам. Из ближайшего штаба полка позвонил по телефону командиру роты.

Все прояснилось.

По плану еще вчера зенитчики должны были занять позиции в указанном мне пункте, но немцы внезапно перешли в контрнаступление, и наш полк и зенитная артиллерия отступили. Так нам то ли не повезло, то ли повезло за три недели до конца войны. Оба остались живы.

Богомолов через десять дней вернулся из госпиталя, осколок извлекли, глаз сохранили, но навсегда остался глубокий шрам.

Это было две недели назад, а теперь внезапно стало холодно. Задул ледяной ветер, справа и слева от дороги лежал снег. Возле указателя «Перевал» стоял деревянный домик, из домика выбежали человек десять немцев, в руках они держали белые тряпки и хором, бледные и смеющиеся, кричали:

— Криг капут!

Я поднял автомат.

С автоматами и гранатами мы окружили их. Они поняли, что не все так просто, и хором начали на немецком языке, размахивая руками, что-то объяснять нам, и сержант Чистяков, который в школе по немецкому языку имел пятерку, сказал мне:

— Они утверждают, что сегодня утром война закончилась, наступил мир, «криг капут!».

Немцы расступились, пропустили нас. Через несколько минут начинался спуск, прекратился ветер, рассеялся туман, засветило солнце.

Неужели действительно война окончилась?

9 мая 1945 года

Мы спустились все ниже и ниже. Недоумение, растерянность, восторг. Внезапно шоссе перегородила крытая повозка, и мужчина в гражданском и мальчишки с сияющими лицами, с каким-то украинским акцентом, с ударением на «о» кричали:

— Война капут! Фриц капут! — и раздавали горячие пирожки, и разливали из кувшинов по бокалам вино.

Я не помню, какие слова и как они говорили, но помню радостные их глаза и то ли «Товарищ!», то ли «Брат!». Это были чехи, поднявшиеся до перевала, чтобы первыми встретить нас.

А потом целыми семьями, с едой и вином. Каждому хотелось с кем-то чокнуться, выпить за победу, и мы стремительно начали пьянеть, а конца приветствиям, поцелуям, объятиям не было видно, и отказываться от угощений было невозможно, и потому все было как в сказке. Человек пятьдесят буквально на руках спускали нас, вместо нас заклинивали палками колеса телег, смеялись, плакали, рассказывали о своей жизни, и все это рябило в глазах и как бы бурлило и таяло в общем тумане счастья.

Не помню, каким образом проехали мы еще несколько десятков километров, окруженные толпами людей, спустившихся с горных деревень и приехавших из соседних сел, не помню, как появился огромный двух- или трехэтажный дом, как не то ключник, не то управляющий очень богатого хозяина этого дома распахнул парадные двери и пригласил нас отдохнуть с дороги.

Паркет, ковры, люстры, книжные полки, диваны.

Лошади и повозки во дворе.

Исполняющий обязанности хозяина этого дома из подвала приносит ящики с минеральной водой, но уже ни у кого нет сил ни есть, ни пить, ни выбирать место для отдыха. Все валяется на пол, на ковры и мгновенно засыпают, а меня, офицера, этот улыбающийся человек приглашает в кабинет хозяина, объясняет, что тот в Праге, и я могу воспользоваться для отдыха либо кроватью в спальне, либо огромным диваном в кабинете.

*Можно все, что практически сложно / и физически
вряд ли возможно, / заключить, словно воздух в меха, / в
две короткие строчки стиха / или в серию автопортретов.
/ Это Бог, это Левиафан. / Простота не имеет секретов.*

А теперь — назад.

Как я уже писал, об окончании войны я узнал на перевале через Карпаты. Потом пятнадцать дней пребывал в состоянии полупьяной эйфории в чешском городе Яблонце.

С утра до вечера окружали нас счастливые, благодарные нам горожане и спустившиеся из горных деревень мужчины, женщины, дети с едой, вином, объятиями и поцелуями.

Через пятнадцать дней получил я по радиации приказ возвращаться обратно через Карпаты в исходный силезский город Левенберг, куда уже вернулся штаб армии, между тем как отдельные подразделения 31-й армии продолжали за Прагой сражаться с окруженной полуторамиллионной последней группировкой немецких войск.

19 мая 1945 года

«Дорогие мои! Первая неделя мира на исходе.

Странно думать, что ничто больше не угрожает жизни, что голова на плечах... Не нахожу никакого оправдания, что сижу в силезском захолустье, заставляю с утра до ночи маршировать соскучившихся по дому стариков...»

4 июня 1945 года

«На смену трудностям фронтовой жизни пришли мелочи армейского быта. Оглядываюсь назад...

Хочу описать то, участником и свидетелем чего мне пришлось быть на войне. Описать так, чтобы выплыли все пороки войны. Это нужно. Есть очень много неосвещенных и глухих сторон жизни фронта. Я старался понять все, и мне кажется, что в общих чертах понял. О многом сейчас говорить рано...»

В полной уверенности, что война моя закончена, подаю рапорт о демобилизации.

Однако майор Андрианов предлагает мне стать командиром роты, пишет рапорт о присвоении мне звания старшего лейтенанта.

Я категорически отказываюсь.

25 мая начальство идет мне навстречу, но уже на следующий день приходит приказ маршала Конева — демобилизацию приостановить, немедленно приступить к боевым занятиям.

Глава 14

СУДЬБА МОЕГО БРАТА

Несмотря на то что папа мой окончил только четыре класса, почерк у него был каллиграфический, а подпись состояла, кроме буквы «Н» и «Рабичев», из четырех каллиграфических завитков и росчерка, как бы опоясывающего всю группу букв.

Рисунок? Гербальдика? Знак человека, неповторимости его личности? Знак?

С одной стороны, действительно, обладала подпись его несомненной неповторимостью, с другой, как бы являясь документом эпохи, чем-то напоминала и подписи столоначальников, и подписи писателей, и подписи царских министров и великих князей.

Забыл я написать, что после школы отец мой лет десять занимался в библиотеках самообразованием, что дед мой, лесной сторож, каждое лето выписывал из Киева в Чернобыль студентов, которые учили одиннадцать его детей не только алгебре и географии, но и чистописанию.

Может быть, была тут традиция и какой-то элемент честолубия — мы хоть и не родовитые, да не хуже и самых известных адвокатов, дворян и князей.

Может, так оно и было.

Огромное количество прочитанных и проконспектированных книг. Достоевский, Лев Толстой, Куприн, Пушкин, Тургенев; великолепная память, организационные способности.

Может быть, с такой подписью легче было найти работу? Заслужить уважение современников?

Подпись человека XVIII, XIX веков — его визитная карточка.

Мечта о такой подписи сидела и во мне, и в душе моего брата Виктора. Было ему, вероятно, лет шестнадцать, когда взял он несколько листов бумаги и все их покрыл своими упражнениями. Хотелось, чтобы было не хуже, чем у папы.

Но что-то надо было изобретать.

Папа был — Николай, и впереди была разомкнутая буква «Н», а у него-то круглая буква «В» — и все уже не так.

Он учился расписываться, а я сидел рядом.

Он самоудовлетворился и прекратил эксперименты и на протяжении всех довоенных лет расписывался на своих книгах, тетрадках, во всех необходимых случаях жизни, а когда началась война — в конце всех своих замечательных писем.

Таким образом, подпись моего брата Виктора навсегда вошла в копилку моей памяти.

Но дело не в этом.

15 августа 1942 года мама моя получила от Виктора письмо о том, что он вышел из госпиталя, получил новые машины и скоро снова уже будет в Сталинграде.

В конце письма был указан новый адрес его полевой почты.

Больше писем от него не было.

Все письма родителей через две недели возвращались назад. На последний запрос в канцелярию Верховного главнокомандующего маршала Сталина последовал ответ, что воинская часть п/я 218768 в составе фронта не числится и что, видимо, брат мой пропал без вести. Не сказано было там, что пропала без вести и вся его танковая бригада.

Город Левенберг, июль 1946 года

Спустя два месяца после победы я еще находился в составе своей роты в силезском городе Левенберге и, как я уже писал выше, днем занимался со своим взводом строевой подготовкой и телефонией, ночью пил с офицерами роты трофейные вина и тщетно мечтал о демобилизации.

Познакомился с капитаном из соседней части. Зашел он ко мне, протянул руку, говорит:

— Андрей Тупицын.

— Леонид Рабичев, — отвечаю я капитану.

— Так это твое хозяйство расположено по ту сторону дороги? — спрашивает Тупицын.

— Да нет, — говорю, — у меня никакого хозяйства, взвод у меня, связисты.

А он:

— За дорогой указатель: «Триста метров до хозяйства Рабичева».

Что-то у меня под сердцем екнуло. Редкая фамилия. Не брат ли? Слышал я о таких историях. В результате ожогов преображались люди до неузнаваемости. Лица, иссеченные бугристыми шрамами, напоминали лица прокаженных или сифилитиков, незнакомые люди шарахались, знакомые тоже вели себя не слишком понятно. Исчезали некоторые из них и начинали новую — счастливую или несчастливую — жизнь.

«А вдруг, — подумал я, — и он так же?»

Выбежал из дома, пересек дорогу, подбежал к указателю и остолбенел.

На указателе под словами «Хозяйство Рабичева» стояла подпись моего брата — та самая, довоенная, двенадцать лет назад сочиненная, чуть-чуть похожая на подпись папы, но не папина, а Витина, его особенная и неповторимая.

Сердце у меня билось. Бросился я назад, нашел командира роты, попросил освободить меня на день от занятий, взял с собой ординарца своего Королева, за-

пряг он лошадь, сели мы на трофейную мою двуколку и подъехали к указателю. Под подписью брата стрелка указывала направление перемещения части. Проехали по шоссе километра три — поворот направо и указатель: «Хозяйство Рабичева», подпись брата, стрелка — два с половиной километра. Через двадцать минут фольварк, артиллеристы.

Спрашиваем:

— Это хозяйство Рабичева?

Лейтенант-артиллерист отвечает:

— Опоздал ты, лейтенант, на сутки. Вчера это хозяйство передислоцировалось, а указатель куда — на параллельном шоссе, метров четыреста от нас.

Пересекаем поле, лес, выезжаем на параллельное шоссе — подпись Виктора и стрелка.

— Лейтенант, — говорит Королев, — что это за хозяйство, почему оно все время в движении? Уж не саперы ли?

Я горько пожимаю плечами. Уже полдень, уже проехали километров пятнадцать, и вот опять стрелка и подпись, на этот раз рядом с деревянной крашеной Мадонной, и поворот налево, на восток. Стрелка — подпись, стрелка — подпись. Проехали еще двенадцать километров, развилка дорог, стрелка на юг.

Лошадь устала, и я понимаю, что мы вращаемся в каком-то заколдованном круге.

Распрягли лошадь, пустили на луг, разожгли костер, варим суп, расстилаем плащ-палатки и отдыхаем. Вспоминаю, как брат до войны привез к нам на Покровский бульвар Козина и Ашкенази. Они играли и пели весь вечер, а меня поразило обилие морщин на лице молодого Ашкенази.

Или я его с кем-то путаю?

Брат — председатель клуба выходного дня Станкоинструментального института. Вот объявляет программу очередного номера.

Это самый модный накануне войны джаз Цфасмана.

Еще недавно все джазы находились под запретом. Самой модной была заграничная пластинка «Хау ду ю ду ду, мистер Браун!».

Ол-райт! Запрягаем лошадь. Десять километров до следующего перекрестка дорог и следующей подписи и стрелки.

Начинает темнеть.

— Может быть, достаточно? — говорит Королев.

На этот раз стрелка поворачивает на юг, мы торопимся, едем по очередному шоссе час и вдруг обнаруживаем знакомые ворота, знакомый фольварк и тот самый первый указатель, который поверг меня в неопишваемое волнение...

Мы действительно совершили полный круг, хозяйства Рабичева не нашли, второй раз повторять маршрут глупо. Попробовать узнать в штабе армии? Но ведь хозяйство это могло быть и из другой армии, а то и из другого фронта.

Двигалось оно, но куда? Зачем?

После окончания войны почти у всех бойцов и офицеров армии было по две-три пары трофейных ручных часов, и существовало такое развлечение. Подходит на дороге незнакомый лейтенант и говорит:

— Махнем не глядя!

Махнем — это означало поменяемся. Были у меня немецкие часы, а у него? Улыбающееся доброе лицо.

— Махнем, махнем, — говорю и получаю великолепные швейцарские, циферблат прозрачный, корпус прозрачный, и видно, как вращаются колесики.

— Ну, тебе повезло, — говорит незнакомый лейтенант.

Все это происходило на глазах у старшины моей роты Чумикова.

Он тогда подошел ко мне и говорит:

— Махнем не глядя!

Мне просто хотелось сделать ему подарок, от Москвы до Кёнигсберга прошли, и, кроме хорошего, ничего я от него не видел.

— Махнем, махнем, — говорю. И вот у него мои швейцарские, а у меня обыкновенные немецкие, но рады мы оба. Вот с этими, чумиковскими, я в 1946 году демобилизовался, а спустя двенадцать лет они у меня остановились, и зашел я в часовую мастерскую на углу улицы Герцена и Суворовского бульвара.

Протягиваю в окошечко часы. Мастер заполняет квитанцию и спрашивает:

— Как фамилия?

— Рабичев, — говорю я.

— Да нет, — говорит он, — как ваша фамилия?

— Рабичев, Рабичев! — говорю я, а он:

— Вы что, не видите фамилию мастера над окошком? Это я, — говорит, — Рабичев, а вы?

— Да я тоже Рабичев. Как здорово, — говорю я, — такая редкая фамилия, и вдруг мы встречаемся.

А он:

— Какая редкая? У меня двадцать родственников и, все Рабичевы.

— А где же вы живете?

— Я рядом, на Суворовском бульваре, а они — в Киеве.

— А кто-нибудь из них воевал? — спрашиваю я.

— Да почти все, — отвечает он, — был даже один генерал.

— Слушайте, — говорю я, — я художник, у меня рядом мастерская, может быть, после работы вы зайдете ко мне?

— Не могу, — говорит он, — и не хочу. Надоели мне мои родственники, а тут еще и вы. Часы починю, а заходить не буду.

Через неделю я получил часы, а мастер Рабичев не узнал меня, даже не посмотрел на меня.

Десять лет спустя однажды вечером в квартире моей на Покровском бульваре раздался звонок. На площадке стояли два пожилых подполковника.

— Вы Рабичев? — спросил один из них.

— Да.

— А кем вы приходитеесь Виктору Рабичеву, который в 1942 году командовал танковым взводом под Сталинградом?

— Я его родной брат.

— А отец и мать у него живы?

— Мать, — говорю, — на кухне, а отец умер в 1952 году. Сердце у меня билось.

— Он жив? — спрашиваю. — Откуда вы и почему раньше не приходили?

— Ничего не говорите матери, пойдете на бульвар.

Мы вышли на Покровский бульвар, сели на скамейку.

— Мы проездом из Ленинграда, мы были рядом с вашим братом и все видели.

— Мы его похоронили, — сказал второй.

— Когда он погиб, как, где? — спросил я.

— После того как мы похоронили его, мы хотя и не знали как, но хотели сообщить его родителям. Но на следующий день вся наша бригада была уничтожена, мы оказались в разных госпиталях, а потом в разных армиях. Шли тяжелые бои, а потом мы не могли найти нужных слов, настолько все было противоестественно.

— В ту августовскую ночь мы так устали и была такая жара...

— Ваш брат заснул и во сне, не удержавшись на броне, был раздавлен гусеницами своего танка.

Мы попрощались. В ужасе я ходил по бульвару. Я не знал, что кто-то мог так умереть на войне.

Еще я узнал, что Виктор пережил всего три боя.

23 июля 1942 года, во втором бою, немцы подожгли танк Виктора. Получив тяжелые ожоги, прямо с

поля боя попал он в госпиталь. Через пятнадцать дней вышел из госпиталя и еще через пять дней получил новый взвод. В третьем бою уничтожил батарею противника. К счастью, никто из танкистов не пострадал.

Я не мог ничего рассказать маме, и она умерла через десять лет, так и не узнав ничего о том, как ушел из жизни ее пропавший без вести сын.

Его письма с фронта, вплоть до последней телеграммы, хранятся у меня. Его имя высечено на мраморной доске в вестибюле Станкоинструментального института в Вадовском переулке. На 13-й Парковой улице стоит стела, посвященная павшим на войне ученикам его школы.

Глава 15

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ НЕМАН

Два часа телефонии, два — изучение уставов и шесть часов в день строевой подготовки. С восьми утра до шести вечера строевая подготовка, тактика, уставы боевой и караульной службы, исправление поломок в телефонных аппаратах, прокладка учебных линий связи. Однако какие уставы на войне?

Четыре года никто не ходил в ногу. Мне — двадцать три, кому-то больше, кому-то меньше, а абсолютное большинство в моем, да и в их собственном представлении старики. Им от тридцати до пятидесяти лет, они соскучились, дома ждут жены, дети, семьи нуждаются в помощи. Смеемся, плачем — штыковой бой, а штыков нет, да и винтовок штук семь, у остальных автоматы. А как же «К ноге!»?

Каждые пятнадцать минут из строя:

— Лейтенант, давай перекур!

Я:

— Два наряда вне очереди! Направо!

А он — налево. Но ведь именно с ним вдвоем два месяца назад переправлялся я через Неман! И именно он, Кузьмин, спас меня.

О, эта переправа!

Мы на своих повозках опять отстали от штаба армии. Связь — только рация.

Сорок километров кабеля в катушках, на повозках. Начальство давно впереди.

— «Волга», «Волга», я «Нева», как слышите меня? Прием.

Великолепные асфальтовые дороги, на перекрестках на пьедесталах деревянные крашенные Мадонны.

Бесконечные лесные уголья. Смотрю на компас, на немецкую двухкилометровку.

Впереди мост через Неман, настроение отличное, немцы бегут. По мере продвижения наше настроение меняется. Мост взорван, а все дороги на подступах к переправе забиты техникой.

Кружим, кружим, каким-то образом приближаемся к цели, но по мере приближения возрастает грохот от разрывающихся авиационных бомб. Кажется, нам везет, мы сбoku прорываемся к переправе. И сразу оказываемся в дымном кровавом месиве, в эпицентре жуткой бомбежки.

— Ложись!

Лошади дрожат, мы не успели их стреножить, одна из них разрывает постромки и бежит и тут же падает, сраженная несколькими осколками.

Лежать, только лежать.

Разные характеры. Одни лежат на животе, зарываются головой в песок, в траву, в грязь и дрожат. Другие, их меньше, лежат на спине и смотрят на небо. Мне хочется отвернуться, но нельзя, лежу на спине и смотрю на небо. На этот раз над переправой «Хейнкели».

От фюзеляжа каждого отделяется несколько черных палочек. Это бомбы. С каждой минутой они увеличива-

ются в размерах. Те, что лежат на животе и дрожат, их не видят. Я вижу, и сердце у меня бьется, как сумасшедшее. Пока они в вышине, кажется, что каждая из них летит именно на меня, но заставляю себя смотреть вокруг, в каком состоянии мой взвод — не те, которые лежат лицом вниз, а те, которые, как и я, смотрят на небо. Как и мне, им кажется, что каждая из бомб летит именно на них, и вот тут происходит фокус саморазоблачения.

Самые интеллигентные или скромные, не очень уверенные в себе дрожат, но лежат, а самые хвастливые, циничные, наглые, хваткие и, казалось бы, смелые не выдерживают, вскакивают, и бегут, и не могут остановиться, потому что действительно кажется, что бомбы летят именно на них, и они пытаются убежать в сторону. Смотрят вверх и понимают, что бегут как раз под бомбы, и, задыхаясь, бегут назад.

Кричу:

— Агафонов, ложись!

А он смотрит на небо — бомбы над головой и бежать уже не может, и лечь тоже. Вскрываю на ноги, бросаюсь на него, валюсь вместе с ним в кровавую грязь. И это последние секунды, уже ясно, что бомба разорвется в двух десятках метров от нас.

Вжимаемся в землю, свист пролетающих над нами осколков. Еще несколько минут — и шесть вражеских самолетов, отбомбьась, уходят на запад. Но ведь через несколько минут появятся новые. Переправа разрушена. Никаких шансов у нас оказаться на другом берегу нет. Оставаться и ждать очередной бомбежки бессмысленно.

Поднимаю своих оглушенных, полуконтуженных людей. Все. Стремительно освобождаем мелкой дрожью дрожащих, с белой пеной на губах лошадей, вскакиваем на повозки.

На шоссе танки, самоходки, артиллерия, моторизованная пехота, а в воздухе теперь «Мессершмитты» и пикирующие «Юнкерсы». Вся земля горит, горят ма-

шины, горит десятый раз восстанавливающийся понтонный мост, наполняются водой, загораются и тонут понтоны, падают в воду и погибают саперы.

Какой-то генерал пытается на «Виллисе» подъехать к переправе, но офицеры-танкисты не дают. А с неба падают бомбы, и почему-то нет нашей авиации и молчат наши зенитчики.

Ефрейтор Агафонов ранен. Кровь, огонь.

Между тем лейтенант саперного подразделения объясняет мне, что шесть километров правее недавно еще функционировал паром. Немцы его потопили, однако над водой остался стальной канат.

— Попробуйте, — говорит он, — соорудить плот и, держась за этот канат, перебраться на другой берег.

Несколько сот метров вдоль берега, крутой подъем и лес — и как можно скорее, дальше от переправы. Какое счастье, все живы, отошли, а «Студебеккеры», и танки, и самоходки — они не могут выбраться из этого кромешного ада. Назад, налево, направо — все дороги закрыты. Экипажи покинули машины, залегли в кюветы, пользуясь передышками, наскоро сооружают окопчики и ждут нового налета.

Не помню, по каким дорогам, но точно с картой и компасом, уже к вечеру подъезжаем мы к берегу Немана. Действительно, от одного берега к другому протянут чуть выше метра над водой канат. Метров сто пятьдесят ширины Неман.

Шесть повозок. Канат.

О, великий разум бывалого солдата! В снаряжении нашем всегда топоры, ломы, а на берегу двухэтажный деревянный дом. Вилла? Коттедж? Отель?

Нельзя терять ни минуты. Сорок человек набрасываются на эту то ли виллу, то ли усадьбу, разбирают, разрушают ее. В нашем распоряжении несколько десятков великолепных бревен и несколько километров телефон-

ного кабеля. Привязываем бревно к бревну, и вот работа закончена. Шесть на четыре метра — великолепный плот.

Вчетвером мы решаем проделать первый контрольный рейс. Ящик с патронами и гранатами, автоматы, несколько вещевых мешков, катушек кабеля. Перегружать нельзя, впереди неизвестность. Отталкиваемся от берега веслами и шестами, держимся за канат. Без особого труда преодолеваем течение. Река спокойная, и мы уже на середине ее.

Но тут начинается то, чего мы по неопытности не могли предвидеть: стремнина это называется, что ли — плот наталкивается на стремительное течение воды.

Ни шесты, ни весла не помогают.

Стараемся удержать плот ногами, а канат вырывается из рук.

Руки разодраны, силы на исходе.

Если отпустить канат, то через полчаса наш плот вместе с нами протаранит понтонный мост.

Нет, руки разжимать нельзя, надо перебирать их. Сбрасываем в воду все грузы.

Сбрасываем патроны, гранаты и кабель.

Сбрасываю свой вещмешок, навсегда прощаюсь с письмами и дневниками. И вот в тот момент, когда последние силы покидают нас, мы вырываемся из этого стремительного течения. Плот, спокойно покачиваясь, возвращается в исходное положение и становится управляемым. Доплываем до противоположного берега, но сколько потерь!

Теперь мы знаем, с чем нам придется при переправе столкнуться, но ведь надо возвращаться обратно.

Там мой взвод.

Переправляться можно, но на канат надо надеть две петли, накрепко закрепить их, за канат, вероятно, должны держаться не четыре, а восемь человек, и совершенно необходимо соорудить упор для ног.

Ну а как нам вернуться назад?

Мы устали, едва ли второй раз выдержим борьбу с адским течением.

И тут мой бывший ординарец Кузьмин заявляет, что вода не такая холодная, что сумеет переплыть на другой берег, что человека три переплывут с ним обратно, а ввосемьмером с канатом мы запросто вернемся.

Еще не наступило утро, когда после пяти рейсов туда-назад перевезли мы и лошадей, и все имущество.

Чтобы не попасть под новые бомбежки, надо было срочно отъезжать от реки, и мы поехали через деревню по первой же перпендикулярной Неману дороге и ехали, пока не рассвело, часа два. Распрягли лошадей и заснули.

Проснулись в семь утра от разрывов авиабомб.

Я вскочил на ноги и понял, что никуда мы не уехали от вчерашней переправы, что ночная наша дорога образовала петлю и дорога, перпендикулярная канатной переправе, привела нас к переправе понтонной. Я проклинал себя, что с вечера не посмотрел на карту и доверился интуиции. К счастью, нам опять повезло, никто не пострадал, и мы благополучно выбрались из зоны бомбежки.

Так вот, во время занятий по строевой подготовке после окончания войны в силезском городе Левенберге «налево», вместо «направо», повернулся бывший мой ординарец и спаситель, переплывший через реку Неман ефрейтор Кузьмин.

Глава 16

САМОЕ СТРАШНОЕ

Однако возвращаюсь в Левенберг. С начала строевых наших занятий жизнь моя потеряла всякий смысл. Пока шла война, чувство исполненного долга, невыдуманное фронтовое братство, доверие ко мне, переходящее в лю-

бовь, моего взвода, а последний год мечта о Литературном институте после войны — все это воодушевляло и радовало меня. Еще в апреле написал я письмо на имя директора Литературного института с просьбой познакомиться меня с кем-нибудь из студентов-поэтов. В мае получил письмо от Виктора Урина. Не без иронии описывал он жизнь свою и своего студенческого общежития и прислал мне несколько своих стихотворений. Обменялись мы парой писем, условились о будущей встрече в Москве. Но, вместо Литературного института, мучил я и дрессировал своих солдат. Друзья присылали мне книги, но ни читать, ни писать я не мог, так как днем была строевая подготовка, а вечером не было электричества, и гильзы мы тоже повыбрасывали.

И вот, в темноте, когда спать еще не хотелось, пили какие-то трофейные вина. А я прекратил переписку с девочкой из Казани Сашей. По-видимому, появился у нее кто-то. В ответ на мое последнее письмо к ней получил я грубое, омерзительное письмо с угрозами и оскорблениями не от нее, а от какого-то обезумевшего от ревности парня. Написал еще одно письмо, ответ был еще более омерзительный, а Саша молчала.

Что-то во мне перегорело, и теперь мечтал я, тоскуя, о неизвестной, но прекрасной москвичке. Было вокруг много девочек и наших, и немок, но я не хотел размениваться и ждал новой настоящей любви. И все-таки разменялся.

Соблазнил меня командир третьего взвода моей роты лейтенант Кайдриков.

— Пошли со мной, — сказал он в один из вечеров. — Возьми банку американской тушенки, пачку сигарет, посидим с девочками.

Я-то все вечера напролет напивался с друзьями-офицерами, а он в одном из соседних домов устроил... что? Иду за ним. Открывается дверь дома, а там анфилада

комнат и половина его взвода, из которого половина — бывшие мои солдаты, на диванах и кроватях, в креслах, просто на полу сидят, а на коленях у них немецкие девочки, а на подоконниках еще пять скучающих. И тут как тут мой Кузьмин соскочил со своей подружкой с кресла, и... только я сел, с подоконника соскакивает еще одна дивной красоты, и целует меня в губы, и оценивающим взглядом буквально просверливает меня.

Что это?

Мне даже в голову не приходило, что такое возможно.

Бардак? Публичный дом лейтенанта Кайдрикова?

А Кузьмин:

— Я сейчас сбегая к тебе, лейтенант, принесу подушку, матрац, одеяло.

А у меня голова кружится, и совсем я с этой немочкой себя потерял. Обнимаю ее, ни одного немецкого слова, кроме «Их либе зие», не знаю, а русские слова тоже все забыл, да и это «Их либе зие» тоже произнести не могу, потому что хотеть-то я ее хочу, безумно хочу, а люблю ли? Да нет, конечно, не умею я врать.

А Кайдриков:

— Что же ты не раздеваешь ее?

И все солдаты смотрят на меня и улыбаются.

— А нельзя в какую-нибудь другую комнату перейти с ней?

А Кайдриков:

— Да у нас тут никто не стесняется, а вообще-то — вот чулан, что ли.

И Кузьмин несет постельные принадлежности.

Я ее поднял на руки, она прижимается ко мне, и вот мы уже на постели, и тут я, видимо, совершил большую ошибку.

Дело в том, что девочки эти не проститутки были. Видимо, пережили они все жуткие трагедии, гибель родителей, братьев, сестер, женихов, крушение иллюзий, изнасилованные, без средств к существованию, вчерашние гимназистки, студентки с еще не полностью утра-

ченными романтическими представлениями о жизни, с жуткой потребностью на минуту забыть обо всем в искусственном омуте ласки и нежности. А я дорвался до нее, как с цепи сорвался, стягивая, порвал чулок, набрасываюсь на нее, даже не раздев до конца, видимо, своей поспешностью причиняю ей боль, долго не кончаю, а она не поддерживает меня, на лице гримаса горечи, которой я не замечаю. Наконец я кончаю и с ужасом обнаруживаю слезы страдания на ее глазах.

Почему-то я, как когда-то, не испытываю удовлетворения от этой близости. Нужны какие-то слова, а я языка не знаю и говорю, задыхаясь:

— Нихт гут, нихт гут?

Как она понимает это «нихт гут», я не знаю.

Она стремительно одевается, выскакивает из чулана, спускается по лестнице в вестибюль дома, прижимается к стене — и вдруг жуткое трагическое рыдание, страшный истерический приступ. И тоска, тоска. Я рядом с ней, я унижен и раздавлен и упорно твержу это свое «нихт гут».

Весь дом растревожен.

Прибегает Кайдриков, и она, рыдая, бросается ему на грудь.

— Ну что же ты, почему? — говорит мне Кайдриков, а я растерян, и меня тошнит от всего этого, от моей неумелости, от пошлости и мерзости положения.

Почему? Наверно, солдатская веселая грубость была бы ей милее моего интеллигентского идиотически выраженного сочувствия. Не знаю. Это вторая немка в моей жизни. Первая потрясла меня своей чистотой, как у Пушкина — «чистейшей прелести чистейший образец».

Это было пять месяцев назад.

Назад в Восточную Пруссию, февраль 1945 года

Да, это было пять месяцев назад, когда войска наши в Восточной Пруссии настигли эвакуирующееся из Голь-

дапа, Инстербурга и других оставляемых немецкой армией городов гражданское население. На повозках и машинах, пешком — старики, женщины, дети, большие патриархальные семьи медленно, по всем дорогам и магистральям страны уходили на запад.

Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.

Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.

Обливающих кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения участвовали.

Нет, не круговая порука и вовсе не месть проклятым оккупантам этот адский смертельный групповой секс.

Вседозволенность, безнаказанность, обезличенность и жестокая логика обезумевшей толпы.

Потрясенный, я сидел в кабине полуторки, шофер мой Демидов стоял в очереди, а мне мерещился Карфаген Флобера, и я понимал, что война далеко не все спешет. Полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков.

— Кончай! По машинам!

А сзади уже следующее подразделение.

И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди. У меня тошнота подступает к горлу.

До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей.

Шоссе освобождается для движения.

Темнеет.

Слева и справа немецкие фольварки. Получаем команду расположиться на ночлег.

Это часть штаба нашей армии: командующий артиллерией, ПВО, политотдел.

Мне и моему взводу управления достается фольварк в двух километрах от шоссе.

Во всех комнатах трупы детей, стариков, изнасилованных и застреленных женщин.

Мы так устали, что, не обращая на них внимания, ложимся на пол между ними и засыпаем.

Утром разворачиваем рацию, по РСБ связываемся с фронтом. Получаем указание наводить линии связи. Передовые части столкнулись, наконец, с занявшими оборону немецкими корпусами и дивизиями.

Немцы больше не отступают, умирают, но не сдаются. Появляется в воздухе их авиация. Боюсь ошибиться, мне кажется, что по жестокости, бескомпромиссности и количеству потерь с обеих сторон бои эти можно сравнить с боями под Сталинградом. Это вокруг и впереди.

Я не отхожу от телефонов. Получаю приказания, отдаю приказания. Только днем возникает время, чтобы вынести на двор трупы.

Не помню, куда мы их выносили.

На двор?

В служебные пристройки? Не могу вспомнить куда, знаю, что ни разу мы их не хоронили.

Похоронные команды, кажется, были, но это далеко в тылу.

Итак, я помогаю выносить трупы.

Замираю у стены дома.

Весна, на земле первая зеленая трава, яркое горячее солнце. Дом наш островерхий, с флюгерами, в готическом стиле, крытый красной черепицей, вероятно, ему

лет двести, двор, мощный каменными плитами, которым лет пятьсот.

В Европе мы, в Европе!

Размечтался, и вдруг в распахнутые ворота входят две шестнадцатилетние девочки-немки. В глазах никакого страха, но жуткое беспокойство.

Увидели меня, подбежали и, перебивая друг друга, на немецком языке пытаются мне объяснить что-то. Хотя языка я не знаю, но слышу слова «мутер», «фатер», «брудер».

Мне становится понятно, что в обстановке панического бегства они где-то потеряли свою семью.

Мне ужасно жалко их, я понимаю, что им надо из нашего штабного двора бежать куда глаза глядят и быстрее, и я говорю им:

— Муттер, фатер, брудер — ни хт! — и показываю пальцем на вторые дальние ворота — туда, мол. И подталкиваю их.

Тут они понимают меня, стремительно уходят, исчезают из поля зрения, и я с облегчением вздыхаю — хоть двух девочек спас, и направляюсь на второй этаж к своим телефонам, внимательно слежу за передвижением частей, но не проходит и двадцати минут, как до меня со двора доносятся какие-то крики, вопли, смех, мат.

Бросаюсь к окну.

На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив — вся штабармейская обслуга — шофера, ординарцы, писари, посыльные.

— Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов... — командует майор А.— Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных пли-

тах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты — они уже не пытаются вырваться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.

Выбежали из дома мои телефонистки — смех и мат.

А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.

Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.

Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.

Мне страшно, отвратительно.

Внезапно к горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает наизнанку.

Майор А. — боже, какой подлец!

Я не могу работать, выбегаю из дома, не разбирая дороги, иду куда-то, возвращаюсь, я не могу, я должен заглянуть в свинарник.

Передо мной налитые кровью свиные глаза, а среди соломы, свиного помета два черепа, челюсть, несколько позвонков и костей и два золотых крестика — две «спасенные» мной девочки.

Смех сержанта, старшины портрет? / Гильза, карта, пачка сигарет? / В яме у кирпичного сарая / девочка четырнадцати лет? / Это форма разрушает цвет, / и скорбит победа, умирая.

Но я же хотел рассказать о другом, о чудной своей внезапно возникшей и навсегда застрявшей в памяти

минуте высокого счастья. Но ведь опять я запутался в датах.

Счастье потом.

1 февраля город Хайльсберг был взят нашей армией с ходу. Это был прорыв немецкой линии обороны. В городе оставался немецкий госпиталь, раненые солдаты, офицеры, врачи. Накануне шли тяжелые бои, немцы умирали, но не сдавались. Такие были потери, так тяжело далась эта операция, столько ненависти и обиды накопилось, что пехотинцы наши с ходу расстреляли и немецких врачей, и раненых солдат и офицеров — весь персонал госпиталя.

Через два дня — контратака.

Наши дивизии стремительно отступают, и око за око — уже наш госпиталь не успевает эвакуироваться, и немцы расстреливают поголовно всех наших врачей, раненых солдат и офицеров.

И снова наши выбивают немцев из города, и на этот раз в городе оказываюсь я с половиной своего взвода.

Вокруг города, в селениях Глиттанен, Галлинген, Редденау, Рехаген, 2 февраля прокладывали линии связи и близ железнодорожных станций устанавливали посты наблюдения бойцы второй половины моего взвода. В городе, кроме наших пехотинцев, артиллеристов, танкистов, оказалось довольно много немецких беженцев: стариков, женщин, детей, которые заняли большинство городских квартир.

Я со второй половиной своего взвода вошел в город вечером и решил переночевать в костеле, в протестантском немецком храме.

И только связисты мои завели в него лошадей, только намеревались после тридцатикилометрового броска расположиться на отдых, как две немецкие дивизии отрезали город и окружающие его поселки от наступающей нашей армии.

Между тем находящиеся в неведении солдаты и офицеры разбрелись по городу.

Комендант города, старший по званию полковник, пытался организовать круговую оборону, но полупьяные бойцы вытаскивали из квартир женщин и девочек. В критическом положении комендант принимает решение опередить потерявших контроль над собой солдат. По его поручению офицер связи передает мне приказ выставить вокруг костела боевое охранение из восьми моих автоматчиков, а специально созданная команда отбивает у потерявших контроль над собой воинов-победителей захваченных ими женщин.

Другая команда возвращает в части разбежавшихся по городу в поисках «удовольствий» солдат и офицеров, объясняет им, что город и район окружены. С трудом создает круговую оборону.

В это время в костел загоняют около двухсот пятидесяти женщин и девочек, но уже минут через сорок к костелу подъезжают несколько танков. Танкисты отжимают, оттесняют от входа моих автоматчиков, врываются в храм, сбивают с ног и начинают насиловать женщин.

Я ничего не могу сделать. Молодая немка ищет у меня защиты, другая опускается на колени.

— Герр лейтенант, герр лейтенант!

Надеясь на что-то, окружили меня. Все что-то говорят.

А уже весть проносится по городу, и уже выстроилась очередь, и опять этот проклятый гогот, и очередь, и мои солдаты.

— Назад, е... вашу мать! — ору я и не знаю, куда девать себя и как защитить валяющихся около моих ног, а трагедия стремительно разрастается.

Стоны умирающих женщин. И вот уже по лестнице (зачем? почему?) тащат наверх, на площадку окровавленных, полуобнаженных, потерявших сознание и через выбитые окна сбрасывают на каменные плиты мостовой.

Хватают, раздевают, убивают. Вокруг меня никого не остается. Такого еще ни я, никто из моих солдат не видел.

Станный час.

Танкисты уехали. Тишина. Ночь. Жуткая гора трупов. Не в силах оставаться, мы покидаем костел. И спать мы тоже не можем.

Сидим на площади вокруг костра. Вокруг то и дело разрываются снаряды, а мы сидим и молчим.

Утром две дивизии разрывают кольцо нашего окружения, и мы уже оказываемся в тылу.

7 мая 2002 года, спустя пятьдесят восемь лет

— Я не желаю слушать это, я хочу, чтобы вы, Леонид Николаевич, этот текст уничтожили, его печатать нельзя! — говорит мне срывающимся голосом мой друг, поэт, прозаик, журналист Ольга Ильницкая.

Происходит это в 3-м госпитале для ветеранов войны в Медведкове. Десятый день лежу в палате для четверых. Пишу до и после завтрака, пишу под капельницей, днем, вечером, иногда ночью.

Спешу зафиксировать внезапно вырывающиеся из подсознания кадры забытой жизни. Ольга навестила меня, думала, что я прочитаю ей свои новые стихи.

На лице ее гримаса отвращения, и я озадачен.

Совсем не думал о реакции будущего слушателя или читателя, думал о том, как важно не упустить детали. Пятьдесят лет назад это было бы куда как проще, но не возникало тогда этой непреодолимой потребности. Да и я ли пишу это? Что это? Какие шутки проделывает со мной судьба!

Самое занятное, что я не ощущаю разницы между этой своей прозой и своими рисунками с натуры и спонтанно возникающими стихами.

Зачем пишу?

Какова будет реакция у наших генералов, а у наших немецких друзей из ФРГ? А у наших врагов из ФРГ?

Принесут ли мои воспоминания кому-то вред или пользу? Что это за двусмысленная вещь — мемуары! Искренно — да, а как насчет нравственности, а как насчет престижа государства, новейшая история которого вдруг войдет в конфликт с моими текстами? Что я делаю, какую опасную игру затеял?

Озарение приходит внезапно.

Это не игра и не самоутверждение, это совсем из других измерений, это покаяние. Как заноза, сидит это внутри не только меня, а всего моего поколения. Вероятно, и всего человечества. Это частный случай, фрагмент преступного века, и с этим, как с раскулачиванием 30-х годов, как с ГУЛАГом, как с безвинной гибелью десятков миллионов безвинных людей, как с оккупацией в 1939 году Польши, нельзя достойно жить, без этого покаяния нельзя достойно уйти из жизни. Я был командиром взвода, меня тошнило, смотрел как бы со стороны, но мои солдаты стояли в этих жутких преступных очередях, смеялись, когда надо было сгорать от стыда, и, по существу, совершали преступления против человечества.

Полковник-регулировщик? Достаточно было одной команды? Но ведь по этому же шоссе проезжал на своем «Виллисе» и командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Черняховский. Видел, видел он все это, заходил в дома, где на постелях лежали женщины с бутылками между ногами? Достаточно было одной команды?

Так на ком же было больше вины: на солдате из шеренги, на полковнике-регулировщике, на смеющихся полковниках и генералах, на наблюдающем мне, на всех тех, кто говорил, что война все спишет?

В марте 1945 года моя 31-я армия была переброшена на 1-й Украинский фронт в Силезию, на Данцигское направление. На второй день по приказу маршала Конева перед строем было расстреляно сорок советских солдат и офицеров, и ни одного случая изнасилования и убийства

мирного населения больше в Силезии не было. Почему этого же не сделал маршал Черняховский в Восточной Пруссии? Сумасшедшая мысль мучает меня — Сталин вызывает Черняховского и шепотом говорит ему:

— А не уничтожить ли нам всех этих восточнопруских империалистов на корню, территория эта по международным договорам будет нашей, советской?

И Черняховский — Сталину:

— Будет сделано, товарищ генеральный секретарь!

Это моя фантазия, но уж очень похожа она на правду. Нет, не надо мне ничего скрывать, правильно, что пишу о том, что видел своими глазами. Не должен, не могу молчать! Прости меня, Ольга Ильницкая.

Из дневника 1945 года: «В городе Лаубане седая женщина прыгала на четвереньках. Никто не заставлял ее делать этого. Ей хотелось рассмешить русских солдат. Единственный ее сын погиб на Восточном фронте».

Шли ожесточенные бои на подступах к Ландсбергу и Бартенштайну. Расположение дивизий и полков медленно, но менялось.

Как я уже писал, второй месяц я был командиром взвода управления своей отдельной армейской роты и отдавал распоряжения командирам трех взводов роты о передислокациях и прокладывании новых линий связи между аэродромами, зенитными бригадами и дивизионами, штабами корпусов и дивизий, а также по армейской рации передавал данные о передислокациях в штаб фронта и, таким образом, находился в состоянии крайнего перенапряжения. И вдруг заходит ко мне мой друг, радист, младший лейтенант Саша Котлов и говорит:

— Найди себе на два часа замену. На фольварке, всего минут двадцать ходу, собралось около ста немок. Моя команда только что вернулась оттуда. Они испуганы, но если попросишь — дают, лишь бы живыми оставили. Там и совсем молодые есть. А ты, дурак, сам

себя обрек на воздержание. Я же знаю, что у тебя полгода уже не было подруги, мужик ты, в конце концов, или нет? Возьми ординарца и кого-нибудь из твоих солдат и иди!

И я сдался.

Мы шли по стерне, и сердце у меня билось, и ничего уже я не понимал. Зашли в дом. Много комнат, но женщины сгрудились в одной огромной гостиной. На диванах, на креслах и на ковре на полу сидят, прижавшись друг к другу, закутанные в платки. А нас было шестеро, и Осипов, боец из моего взвода, спрашивает:

— Какую тебе?

Смотрю, из одежды торчат одни носы, из-под платков глаза, а одна, сидящая на полу, платком глаза закрыла. А мне стыдно вдвойне. Стыдно за то, что делать собираюсь, и перед своими солдатами стыдно: то ли трус, скажут, то ли импотент. И я как в омут бросился, и показываю Осипову на ту, что лицо платком закрыла.

— Ты что, лейтенант, совсем с ума, б..., сошел, может, она старуха?

Но я не меняю своего решения, и Осипов подходит к моей избраннице. Она встает, и направляется ко мне, и говорит:

— Герр лейтенант — айн! Нихт цвай! Айн! — И берет меня за руку, и ведет в пустую соседнюю комнату, и говорит тоскливо и требовательно: — Айн, айн.

А в дверях стоит мой новый ординарец Урмин и говорит:

— Давай быстрее, лейтенант, я после тебя.

И она каким-то образом понимает то, что он говорит, и делает резкий шаг вперед, прижимается ко мне, и взволнованно:

— Нихт цвай, — и сбрасывает с головы платок.

Боже мой, Господи!

Юная, как облако света, чистая, благородная, и такой жест — «Благовещение» Лоренцетти, Мадонна!

— Закрой дверь и выйди, — приказываю я Урмину.

Он выходит, и лицо ее преобразается, она улыбается и быстро сбрасывает с себя пальто, костюм, под костюмом несколько пар невероятных каких-то бус и золотых цепочек, а на руках золотые браслеты. Сбрасывает в одну кучу еще шесть одежд, и вот она уже раздета, и зовет меня, и вся охвачена страстью. Ее внезапное потрясение передается мне. Я бросаю в сторону портупею, наган, пояс, гимнастерку — все, все! И вот уже мы оба задыхаемся. А я оглушен.

Откуда мне счастье такое привалило, чистая, нежная, безумная, дорогая! Самая дорогая на свете! Я это произношу вслух. Наверно, она меня понимает. Какие-то необыкновенно ласковые слова. Я в ней, это бесконечно, мы уже одни на всем свете, медленно нарастают волны блаженства. Она целует мои руки, плечи, перехватывает дыхание. Боже! Какие у нее руки, какие груди, какой живот!

Что это? Мы лежим, прижавшись друг к другу.

Она смеется, я целую ее всю, от ногтей до ногтей.

Нет, она не девочка, вероятно, на фронте погиб ее жених, друг, и все, что предназначала ему и берегла три долгих года войны, обрушивается на меня.

Урмин открывает дверь:

— Ты сошел с ума, лейтенант! Почему ты голый? Темнеет, оставаться опасно, одевайся!

Но я не могу оторваться от нее. Завтра напишу Степанцову рапорт, я не имею права не жениться на ней, такое не повторяется.

Я одеваюсь, а она все еще не может прийти в себя, смотрит призывно и чего-то не понимает.

Я резко захлопываю дверь.

— Лейтенант, — тоскливо говорит Урмин, — ну что тебе эта немка, разреши, я за пять минут кончу.

— Родной мой, я не могу, я дал ей слово, завтра я напишу Степанцову рапорт и женюсь на ней!

— И прямо в Смерш?

— Да куда угодно, три дня, день, а потом хоть под расстрел. Она моя. Я жизнь за нее отдам.

Урмин молчит, смотрит на меня, как на дурака.

— Ты, б..., мудака, ты не от мира сего.

В темноте возвращаемся.

В шесть утра я просыпаюсь, никому ничего не говорю. Найду ее и приведу. Нахожу дом. Двери настезь.

Никого нет.

Все ушли неизвестно куда.

Когда я демобилизовался и первые месяцы метался по Москве, я искал девушку, похожую на нее, и мне повезло.

Я нашел Леночку Кривицкую, что-то во взгляде было *ее*. И когда мы в подъезде напротив старого МХАТа целовались, казалось мне, что я целую *ее*. А когда я потерял ее, все-таки у меня навсегда осталась та, восточно-прусская, имени которой я не узнал.

Бог весть. Может быть, и стихи мои оттуда.

Город Хайлигенбайль. Залив Фриш-Гаф.

Глава 17

«ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ!»

В начале марта 1945 года бои приняли особенно ожесточенный характер. Немцы не сдавались. Отступать им было уже некуда. Позади было море и только по косе Данциг—Пилау еще успела эвакуироваться часть гражданского населения и какие не помню и сколько дивизий или армий не знаю и не знал. Знал только, что наша авиация, артиллерия, наши танкисты, наши «катюши» уничтожали, сжигали, не обращая внимания на огромные потери, последние фашистские полки и дивизии.

Кажется, в конце февраля была прорвана последняя линия обороны в Восточной Пруссии и был взят город Хайлигенбайль.

Через несколько дней была окружена и ликвидирована последняя группа немецких войск юго-западнее Кёнигсберга.

По распоряжению заместителя командующего артиллерией двое суток обеспечивал я с половиной своего взвода связью зенитно-артиллерийскую бригаду, расстреливавшую прямой наводкой немецкие танки.

Вторая половина моего взвода, приданная к одной из дивизий армии, вошла уже в Кёнигсберг.

Спустя три дня мы вышли на побережье залива Фриш-Гаф, впереди было безжизненное море, на горизонте — безжизненная коса Данциг—Пилау. Но об этом я уже писал.

«Война все спишет!»

...Кризис слов, бесконечность фронта, / за утрату пространства ярость, / надвигающаяся старость, / расширение горизонта / от безмерного и святого / до наивного и простого.

Война все спишет?

Вспомнил, как штабной офицер в романе Льва Толстого сверху вниз смотрел на полковника князя Болконского.

А в январе 1942 года сержант Пеганов, который на гражданке был парикмахером, стриг и брил генералов и потому смотрел сверху вниз на лейтенантов и майоров. То же — портной, ефрейтор Благоволин. Он перешивал шинели из немодных в модные, из солдатских в офицерские и изготавливал офицерские фуражки с лакированными козырьками полковникам и генералам бесплатно, а лейтенантам за деньги. А старший сержант Демидов, который на гражданке был фотографом, а в армии, поскольку пил и закусывал с генералами и полковниками,

ни в каких боевых операциях не участвовал. Ко мне он относился снисходительно. Надо отдать ему должное, он еще за деньги часы чинил, а мне бесплатно, и все мои военные фотографии — это его подарки.

Это была наша армейская солдатская элита. В нее чуть ниже рангом входило десятка два водителей армейских автомашин — в 1942 году легковых газиков, полуторок, крытых радиостанций, позже — американских «Виллисов», «Студебеккеров».

Благодаря постоянной дружбе с интендантами были у них всегда водка и консервы, и штабной повар Жуков обеспечивал их двойными порциями привилегированной еды.

По приказу капитана Рожицкого бойцами моими был построен в обороне под Дорогобужем большой блиндаж, переоборудованный в черную баню.

Из сожженной немцами ближайшей деревни привезли камни, соорудили полки и столы.

Его личный ординарец, ефрейтор Мосин, мыл ему спину, живот, ноги и по его специальному приказанию — все, что между ногами, таким же образом мыл он гостей Рожицкого, полковников и генералов. А наш интендант, старший лейтенант Щербаков, из уворованных из солдатских стограммовых пайков водки и продуктов со склада угощал их после бани. Еще он менял обмундирование со склада у освобожденного населения на самогонку.

Ординарца Мосина тошнило, когда он мыл промежуности блаженствующему Рожицкому, и он дезертировал из армии. Дальнейшей судьбы его я не знаю. А у моего ординарца Гришечкина вдруг образовался огромный запас самогонки.

Лошадь — боль моя. Овес выдавали, а сена не было. Гришечкин то и дело в поисках прошлогоднего сена совершал поездки по окрестным селам.

То, что сено он воровал, я знал, не знал только о его побочном «бизнесе». Слово «бизнес» — это не из того

времени, но, как ни удивительно, точнее ничего в голову не приходит.

И Рожицкий, и Щербаков, и Пеганов, и Демидов, и Благоволин, и шофера наши вверенные им средства использовали в корыстных целях. Связисты мои воровали кабель, сено, овес, самогонку, срезали параллельные линии связи, а я не презирал, не ненавидел, я любил их всех.

Как это сочеталось с моим аскетизмом, идейностью, творческим отношением к любому делу, оптимизмом? Почему они все любили меня? Думаю, что в глубине души каждого из них то и дело пробуждалась память о выраженном в знакомых с детства словах «моральный кодекс советского человека».

Нравилось им и то, что я был совестливым и одновременно их соучастником, и хотя определенно «не от мира сего», но свой в доску и не доносил.

Гришечкин.

Под предлогом поездок за сеном воровал он у жителей окрестных освобожденных деревень жернова.

Два несколькопудовых, кажется, гранитных круглых камня для превращения зерна в муку. Воровал в одной деревне, а продавал за несколько литров самогонки в другой. За этим делом я его однажды застал и пришел в ужас.

Люди, которых он обкрадывал, бедствовали. Я заставил его отвезти жернова его первым жертвам и отказался от его услуг ординарца. Выбрал вместо него Соболева — замечательного, доброго, честного и чрезвычайно храброго мужика.

2004 год. Осудил факты нечистоплотности, безнравственные поступки, античеловеческие ситуации — то, в чем и я был невольным, а порой и сознательным участником. Прочитал написанное и преисполнился недоумения.

Налицо парадокс.

В 1943 году под Дорогобужем я, безусловно, сочувствовал своим связистам и во имя высшего — победы над

фашистской Германией — закрывал глаза на повседневное растаптывание самой сущности этических представлений. В 1943 году помыслы мои были чисты и дорога в будущее светла. Не думал я ни о ГУЛАГе, ни о том, что пил краденую самогонку и воровал лошадей. В 2005 году я на прошлую свою наивность и на будущее смотрю с испугом, и сердце мое обливается кровью. Может, головы были не тем заняты, рискуя жизнью, выполняли боевые задания, и все средства были хороши для их достижения, и уж конечно это — «мы за ценой не постоим». 2005 год. Чечня.

Уже накануне взятия Борисова потеряли мы, обеспеченные одним гужевым транспортом, возможность двигаться со скоростью наступления. У всех до одной великолепных наших лошадей, в том числе и трофейных немецких, были стерты и разбиты подковы, их окровавленные копыта пугали меня. Они не могли дальше тащить телеги, нагруженные кабелем, запасом патронов, гранат, солдатских рюкзаков и скаток и тех стерших до крови ноги моих бойцов, что по недосмотру недостаточно профессионально обернули свои ноги портянками.

За пять дней, совершив двухсоткилометровый марш, мы неожиданно для себя застряли. Были прежде по деревням кузнецы, но все они либо ушли защищать Родину по призыву, либо оказались в плену, либо ушли в партизаны. Между тем два раза в день я разворачивал рацию и натыкался на звероподобный мат начальства. Как боеспособное подразделение мы явно выходили из строя.

И вот тогда возникла одновременно у меня и бойцов моего взвода мысль обменять уставших хороших, но с разбитыми копытами лошадей на подкованных деревенских. Но в деревнях, в зоне пяти—восемью километров от Минского шоссе, почти все лошади были

реквизированы отступающими немецкими подразделениями, причем их использовали не только в качестве гужевой тяги, но и ввиду нарушения снабжения просто съедали.

Лошадь, как и корова для деревенской семьи, — кормилица. Более, чем собака и кошка, член семьи. Так же как и для деревенской семьи, и в моей жизни моя лошадь стала за три года войны частью моей судьбы.

Нет, не кавалерийский конь. В декабре 1942 года выдали мне ее с телегой и упряжью по приказу то ли начальника связи Молдованова, то ли заместителя командующего артиллерией Степанцова, просто ввиду того, что ходить я не мог. Приехал я из своего башкирского училища с глубокими язвами на обеих ногах.

Именно тогда мой ординарец Гришечкин с тремя мужиками из моего взвода близ деревни Каськово (кажется, теперь там Зубцовское водохранилище) вырыли два блиндажа — сначала для меня с Гришечкиным, а потом и для моей лошади. Кажется, и там и там было по железной бочке — печке. Два блиндажа эти были метрах в двадцати от поста сержанта Демиденко. Зима была холодная и снежная. Каждый день блиндажи наши засыпало полуметровыми снежными сугробами, и каждое утро бойцы Демиденко откапывали нас, а Гришечкин откапывал лошадь.

Ходить тогда я еще не мог, и Гришечкин на руках вытаскивал меня на мороз. Оба мы скидывали гимнастерки и рубашки и, обнаженные по пояс, обтирались снегом. А в черной бане мылись в деревне Каськово.

Гришечкин подкидывал под камни дрова и обливал их бензином. Камни раскалялись. Какое-то время я мылся, сидя на полу, потом, не выдерживая невообразимой жары, ложился на пол. А ординарец мой на верхней полке смеется надо мной и хлещет себя веником. Голый, я выбегаю из бани на мороз и теряю сознание.

Да, я горожанин, бывший интеллигент. Гришечкин на руках вносит меня в избу.

Я прихожу в себя и одеваюсь. Обморок от контраста температур. Не я первый.

Но не о бане я хотел писать, а о бедных неподкованных лошадях. Весь день уговаривали мы мужиков войти в наше положение, поменять наших обезноженных лошадей на их подкованных.

Но отдать свою выращенную с трудом, впитавшую время жизни лошадь — все равно что руку или ребенка, никто из них на это не соглашался.

А мы должны были догонять свою войну.

Ночью с болью мы расставались со своими лошадьми, перелезали через заборы, открывали ворота, тихо, так чтобы не разбудить стариков и старух.

Но иллюзия — никто из них не спал.

Силой, с оружием в руках загоняли мы крестьян в их избы. До утра длилась эта операция. Слезы, угрозы, обман.

Стараясь быть справедливыми, писали расписки. У кого были деньги — платили деньгами. Знали мы, однако, что никто расписки наши всерьез рассматривать не будет, а деньги давно уже были обесценены.

Утром мы были уже в пути.

Гришечкин обменял трофейного немецкого битюга на жеребую кобылу.

Через два дня мы ели этого жеребенка. А подковы у новых наших лошадей снова уже были разбиты, ноги окровавлены, на глазах слезы. И снова выхода не было, и все повторялось сначала пять или шесть раз, пока под городом Лидой мы не нагнали свою армию и не начали воевать.

Кроме кражи лошадей, на последней стадии наступления крали мы свиней, крали потому, что есть было нечего. На этот раз механизированные интендантские подразделения ушли от нас верст на двести вперед.

Вспомнил об освобожденных из немецкого концлагеря Сувалки наших военнопленных.

В центре этого городка были кирпичные двухэтажные дома, а мы остановились в деревянном доме и развернули радиостанцию прямо на дороге. А по дороге шли освобожденные нашими войсками лагерники, бывшие красноармейцы, и кто-то из них попросил воды, зашел в дом, напился и по рассеянности оставил на столе черную записную книжку.

Мимо нас двигалась бесконечная вереница полуистощенных людей, и один из них, увидев нас, произнес со злобой, указывая пальцем на своего соседа:

— Вот власовец! Его надо арестовать.

А тот сказал:

— Ты что врешь, ты сам власовец!

И тут масса освобожденных, бывших наших солдат остановилась, и каждый, показывая на своего соседа, хриплым голосом орал:

— Это он, он сотрудничал с немцами!

Мы стояли подавленные и не верили своим глазам. Картина напоминала мне «слепцов» Питера Брейгеля, которые вслед за своим проводником проваливались в пропасть.

Так власовцы или не власовцы?

И кто бы они ни были, почему так ненавидят друг друга? Если власовцы, то почему сидели в концлагере, обреченные на смерть?

Если сводят счеты друг с другом и лгут, то почему?

Страшно и противно мне стало, и вошел я в избу, и увидел на столе черный блокнот, тот, забытый одним из движущейся толпы.

Открываю и понимаю, что это дневник нашего офицера, раненного в 1941 году при отступлении и попавшего сначала в лазарет при лагере. Старший лейтенант, инженер, москвич описывает, как уже в конце первой недели по доносам соседей по баракам расстреливали эсэсовцы всех коммунистов и евреев, и фраза прописны-

ми буквами: «КОГДА ПРИДЕТЕ, НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ! ВСЕ, КТО ОСТАВАЛСЯ ВЕРЕН РОДИНЕ, РАСТРЕЛЯНЫ. Остались в живых только те, кто так или иначе сотрудничал с лагерным начальством». И опять как вопль: «НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!»

А дальше фамилии предателей и факты предательств.

Медленно он умирает в лагерном лазарете, и вдруг радость! Он находит человека, которому можно доверять. Это почти мальчик, ему девятнадцать лет, но он не предатель, и завещание: «КОГДА Я УМРУ, ПЕРЕШЛИ МОЙ ДНЕВНИК ПО МОЕМУ МОСКОВСКОМУ АДРЕСУ, и пусть мои родственники сообщат куда надо правду об изменниках, которые будут прикидываться защитниками».

А дальше уже девятнадцатилетний описывает, как его друг умер, и просит того, кто найдет книжку, сохранить ее и направить по адресу его родных, которые тоже москвичи.

Я немедленно пишу со всеми возможными подробностями два письма в Москву. Родственники офицера не ответили, а родственники солдата — о, что это было за письмо, что за вопль радости. «Подтвердите, подтвердите ради бога, что он жив!» Я подтверждаю, но уже через несколько дней получаю второе письмо. «Мы благодарим вас, вчера получили от него письмо, он жив!»

Все это слава богу!

Страшный дневник этот хранил я в своем рюкзаке.

К сожалению, при переправе по льду через одну из восточнопрусских речек образовалась трещина, задние колеса перегруженной нашей полуторки провалились под лед, и машина начала все глубже уходить в образовавшуюся полынью. Соседи успели зацепить за крюк на радиаторе железный трос. Ночь была беззвездная, почти ничего не видно.

Кто-то догадался поджечь двухэтажный барочный дворец на берегу реки. Сноп пламени успел осветить импровизированную переправу и тонущую нашу рацию.

Когда машину потащили вперед, лед провалился перед передними колесами. Пришлось срочно отцепить трос. Все следующие за нами машины проложили по покрытому снегом льду дорогу метров тридцать левее.

Жалко, что во время возни вокруг тонущей нашей рации уронил я в образовавшуюся полынью свой рюкзак с письмами от родителей и друзей, с дневником погибшего в концлагере старшего лейтенанта.

Прав ли он был? Не знаю.

Ведь все эти обличающие друг друга прошли мучительный путь от немецкого концлага к русскому ГУЛАГу.

Не были они ни палачами, ни карателями. Их ли грехи, что предала их Родина, пошли они на какой-то компромисс с палачами с целью не умереть.

Затертые меж двух бесчеловечных тоталитарных систем, заслуживали они если не оправдания, то уж во всяком случае — жалости.

Утрата блокнота была для меня тяжелой потерей. Особенно я переживал, что не переписал фамилии изменников и предателей.

В 1945 году образ мыслей умирающего офицера целиком совпадал с моим. Первым моим желанием в момент, когда я читал его дневник, было переслать его на Лубянку. Но чем это отличалось бы от «подвига» Павлика Морозова? Образ врага, страх возмездия?

Если я не ошибаюсь и это на самом деле были власовцы, то какой же ужас, какой страх возмездия заставлял их ценой предательства друг друга пытаться спасти от гибели себя. Так ли они отличались от штрафников фронта, от партийных функционеров времен чисток и единоголосных голосований? Не тот ли же это менталитет человека 1937 года? Как во мне могла совмещаться психология интеллигента, народника, передвижника, поклонника декабристов и Герцена с этой жадной разоблачить и наказать? Но ведь это было. Господи! Слава богу,

что утопил я на жуткой ночной переправе ту записную книжку и остался, волею случая, человеком чести и не вступил, тоже волею случая, в партию большевиков.

Глава 18

В ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ

После окончания войны я на три месяца в составе своей роты по распоряжению командования возвращаюсь из Чехословакии в Силезию, в город Левенберг.

В конце июня 1945 года направляют меня в резерв армии на предмет демобилизации, но в связи с обострением международных отношений демобилизация отменяется, и меня назначают в расположенный по соседству 871-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион — помощником начальника штаба. Часть подразделений 31-й армии направляют в Китай, а часть, и в том числе мой дивизион, поступает в распоряжение 1-го Украинского фронта.

Снова, но уже на «Виллисе», вместе с командиром дивизиона майором Крайновым, капитаном Самохлебовым, переезжаю я через Карпаты в Чехословакию.

Начало июня 1945 года (дневник 1945 года)

«Ровные, как по линейке, улицы, крытые черепицей коттеджики.

Чехия. Асфальт, газ, электричество, радиоприемники, карандаши «Кохинор», удобные вагоны, в которых не бывает лежачих мест, автомобильные и пивоваренные заводы, но, самое главное, люди — улыбающиеся и гостеприимные, милые и приветливые.

Мы едем по асфальтовой трассе со скоростью 70 километров в час. Вдоль обочин — симметричные купы цветущих черешен. Принарядившиеся девушки машут нам платочками, мальчишки сбегаются со спортивных

площадок, чтобы постоять рядом с нами. Старики выносят нам маленькие рюмочки с виноградной водкой, и мы понимаем, что дело не в десяти или пятнадцати граммах ароматной жидкости, а в том, что души у нас одни. И мы чокаемся со стариками:

— За Чехословакию! За Россию!

Многое в этой замечательной стране мне уже и знакомо, и дорого. Мыдвигаемся по маршруту Прага—Брно—Братислава.

Те же люди. Только черешни вдоль дорог покрыты уже ярко-пунцовыми гроздьями крупных и спелых ягод. Город Брно встречает нас портретами Сталина и Бенеша. Портреты при въезде, на площадях, на перекрестках улиц и в окнах витрин. Около книжных магазинов скопление народа.

В магазинах две новинки: брошюра с речами Сталина и «Новое руководство по изучению русского языка». Тысячи лиц, и на каждом выражение озабоченности и веры. Молодой чех задает вопрос:

— Не понадобятся ли вам услуги в качестве проводника по городу? Платы не надо.

По его рекомендации нас приглашает на двое суток молодая чешская семья — он инженер, она педагог. В какой-то мере они владеют русским языком и мечтают побывать в России.

Вечерами, после работы, жители митингуют, рабочие требуют увеличения заработной платы, деятели искусства и науки, доктора и юристы радуются, что свобода слова наступила, вспоминают историю своей страны, уверены, что то, что было, не повторится.

Вечером движение затихает. На улицах много парочек.

На поклоны отвечают улыбками. Чехия позади.

Словакия.

То и дело останавливаемся. Жара, хочется пить. Однако происходит что-то странное. Старики не улыба-

ются, а отворачиваются, женщина захлопывает дверь, задергивает занавески, за ней другая.

Это тем более непонятно, что язык на глазах меняется. Чешского мы не понимали, объяснялись жестами, а словацкий — вроде украинского, корни слов как в русском.

Не сразу, но понимаем друг друга.

Останавливаемся на перекрестке.

Выходим из машины.

Три женщины. Три вопроса. Все становится ясно.

Здесь проходил казачий корпус генерала Плиева.

У нас брюки с красными кантами. Такие, только пошире были у казаков Плиева, но разобраться трудно.

— В походе казак должен быть навеселе, — говорил генерал, — а в бою — слегка пьян.

В поисках водки казаки грабили местное население. Объясняем, успокаиваем, улыбаемся, почти не останавливаясь, проносимся через города и поселки до Братиславы».

Понтонный мост через Дунай. Та же Братислава, но уже венгерская. Пересекаем шоссе Вена—Будапешт. Некоторое время тянется асфальт, и вдруг — мелкая галька, ухабы, грязь.

Меняется архитектура построек.

Справа домики напоминают наши украинские: белые, крытые соломой, с земляными полами хаты, слева — венецианские сводчатые лоджии.

Жара, хочется пить.

Останавливаем машину.

Железная изгородь, калитка на замке. На дворе куры, свиньи, собаки. Стучим.

На пороге показывается испуганная женщина, но тотчас захлопывает дверь и прячется. Проходит пятнадцать минут.

В доме возня, плач. Пробегает девочка с узлом. Еще пять минут — и водворяется полная тишина, вся семья куда-то скрылась. Дом пустой, двери на запоре.

Мы на американском «Виллисе». Мои попутчики — майор Крайнов, капитан Самохлебов, старший сержант Лебедев — обескуражены и не знают, что думать.

Вечер. Решаем заночевать в следующей деревне. Останавливаем машину у первого дома. Стучим.

Возня, плач, убегающие женщины. Одна тащит утюг, другая останавливается, бледная, с изумлением смотрит на нас. Выходит мужчина лет пятидесяти, очень низко кланяется нам, улыбается, но, когда смотрит на жену, лицо его становится злым.

— По-русски понимаете? — спрашиваю я.

— О да, русский народ хороший, — отвечает он. — Тридцать лет назад я три года был в плену в России, был в Одессе, был на Урале.

У него влюбленные глаза, еще немного — и он поцелует меня.

Я отодвигаюсь.

— Русские — могучий, добрый народ, — говорит он, — я был...

— Ну, раз вы любите русских, разрешите переночевать у вас, может, отведете нам отдельную комнату?

Мужчина гнется, улыбается, гримасничает.

— Русских шок-шок (много-много), — говорит он мне, — а мадьяр тоже шок-шок. Я бедный мадьяр, пролетарий. У нас есть буржуй, у него большой дом, и русским офицерам будет постель.

Он оглядывается по сторонам и показывает пальцем на соседний дом. Дом действительно подходящий.

— У буржуя лучше, — убеждает меня капитан Самохлебов.

Решаем ночевать у буржуя.

Стучим в окно и в дверь сразу, стучим минут десять. Наконец показывается буржуй в шляпе и подштанниках.

— Русские офицеры очень добрые, — бормочет он, — я был в России, в Одессе, там хорошо.

— Вы были в плену? — спрашиваю я.

Мадьяр раз пять кивает головой, неожиданно нагибается и пытается стряхнуть пыль с моих сапог.

— Нам нужно спать, — говорю я, — нужна комната, кровать.

— А! — говорит мадьяр. И на лице его тысячи морщинок и в каждой — тысячи улыбок. — Да, да, да, — трясется он. И вдруг берет меня за плечо, брызгая слюной, говорит шепотом: — Я — товарищ, не буржуй, я тоже товарищ, у меня семья большая — шок-шок, а вон там — буржуй, у него дом, постель, девочка...

— Значит, буржуй в том доме? — спрашиваю я.

— Да, да, палинка, девочка, буржуй, — бормочет «товарищ».

На пороге буржуйского дома отдыхает мадьяр в трусиках.

— Товарищ — буржуй? — спрашиваю я.

Мадьяр кланяется, пытается что-то объяснить, показывает пальцем на дом своего соседа.

— Бур-жуй! — произносит он по слогам.

— Удивительный народ, — говорит майор Крайнов. — Они, по-моему, совсем не любят друг друга, сосед старается насолить соседу.

Однако перспектива ночевать на открытом воздухе нам не улыбается, кроме того, верх берет любопытство — как живет мадьярский буржуй? Сколько у него свиней, коров, собак, палинки и девочек?

Мы не отпускаем ни одного дома.

Вся деревня на ногах.

Мужчины кланяются, женщины причитают, дети режут благим матом, собаки охрипли. Вежливые мадьяры советуют нам, как лучше найти буржуя.

Уже совсем темно.

Мы выбираем двух самых солидных «товарищей», почти насильно усаживаем их рядом с собой.

— Везите нас к буржую, — говорю я.

Один, два, три, четыре километра.

Проезжаем еще две деревни, в темноте ничего не разобрать. Наконец мадьяр просит остановить машину.

Перед нами огромный кирпичный дом.

— Буржуй! — Мадьяр поднимает палец. — Хорошо!

— Вот сволочи! — говорит капитан Самохлебов. — Смотри, куда они нас завезли!

Перед нами огромная полуразрушенная, запущенная и заброшенная конюшня.

Прелое сено, навоз, ветер, звезды, 28 июня 1945 года. Венгрия.

22 июля 1945 года

«Близ провинциального венгерского городка Надьканижа расположен наш лагерь. В городе много лавочек. Жители торгуют грушами и абрикосами.

Когда заходишь в магазин, продавец на бумажке пишет цену. Фрукты стоят сравнительно дешево, но попасть в этот единственный близкий сравнительно городок трудно. Лагеря находятся в лесу, и увольнения запрещены.

Я работаю теперь на должности помощника начальника штаба 874-го зенитно-артиллерийского дивизиона...

Ни в одной стране — ни в Польше, ни в Германии, ни в Чехословакии, ни в Венгрии — люди не живут такой полной жизнью, как в России. Я люблю Москву...»

1 августа 1945 года

«...подполковник. Он жег три лампочки сразу. Потом он уехал и ничего не заплатил хозяину за электричество. Поэтому хозяин уверен, что русским нельзя доверять. В первый же день он перерезал проводку на чердаке».

22 ноября 1945 года

«...Снег растаял окончательно, зимы как не бывало, светит солнце. Жалко, что начавшаяся было демобили-

зация офицерского состава приостановлена... Вином нас мадьяры не обижают, но вино недоброкачественное. Русское лучше...»

25 ноября 1945 года

Нищий показывает партбилет.

— Я пролетарий, коммунист, — говорит он. — Двадцать лет назад я был в России. О! Русский порядок хороший, Николай был хорошим царем!..»

Столица Австрии Вена. Три служебные командировки. Ординарцем и переводчиком у меня был девятнадцатилетний Саша Курманов.

Был он из Смоленской области, в 1943 году вместе с матерью угнан на сельскохозяйственные работы в Силезию, три года проработал батраком у бауэра, научился языку, а после окончания войны и освобождения мобилизован в мою 31-ю армию, входившую в состав 1-го Украинского фронта, командовал которым еще маршал Конев, а штаб находился в Вене, в советской зоне оккупации.

Так вот, еще в ноябре 1945 года первый раз приехали мы в Вену, на неделю. В своем дивизионе, в Венгрии, в городе Надьканиже получили сухой паек: сухари, американскую тушенку, комбижир, крупу, фасоль, сахар. Отметим командировочное предписание в комендатуре, и направили нас в офицерскую гостиницу, а там кровати с постельными принадлежностями были, а кухни и плиты, чтобы суп, кашу сварить или хотя бы воду вскипятить, не было.

И вот комендант гостиницы порекомендовал нам остановиться в частном доме.

Все это чудеса, но чудеса тогда могли быть и реальностью. Попробуй, например, позвонить в любую квартиру в Москве или Петербурге. Но тогда, после войны, венцы голодали.

На тротуарах предлагали себя за буханку хлеба не проститутки, а студентки и актрисы, женщины из добропорядочных семейств, и были семьи и в нашей, и в амери-

канской, и в английской зонах, сдававшие на день, неделю или месяц комнаты в своих квартирах русским офицерам за пару банок тушенки или за килограмм ржаных сухарей.

Вот мы и решили за часть нашего сухого пайка поселиться на неделю в каком-нибудь австрийском доме.

Часа два нам не везло.

Прошли через центр города, вышли на окраину, началась зеленая зона, потом опять окраина, снова город. Переговоры вел Саша, но двери захлопывались. Приближался вечер. Мы готовы уже были вернуться в свою гостиницу, как вдруг в одном из коттеджей женщина сказала нам, что у нее не отель, а отель — там, и показала на соседний деревянный домик.

Железная ограда. Звонок. Появляется пожилая женщина, улыбается и говорит на русском языке:

— Добро пожаловать!

Мы идем вслед за ней. Нас встречает ее муж. Никакой это не отель — домик вроде нашей двухэтажной московской дачи.

Для нас две комнаты внизу, а она с мужем наверху.

Оказывается, незаметно для себя мы зашли в английскую зону оккупации.

За пять минут мы договариваемся. Отдаем весь наш сухой паек, а они нам — две кровати, завтраки и ужины, а пока вместе садимся за стол. Угощение — борщ с луком. Старики подтрунивают друг над другом. Мне хорошо: что-то домашнее, забытое.

Они вроде эмигранты. Из России в Вену еще в начале XIX века приехали дедушка дедушки и бабушка бабушки.

— Внуки у меня фашисты, — жалуется правнучка тех путешественников-россиян.

Шесть часов вечера, спрашиваю, что вокруг интересного, чем вечер заполнить. Оба рекомендуют нам пойти в единственный действующий театр An der Wien — Венский оперный.

— А не опоздаем?

— Да нет, в двухстах метрах станция метро «Шёнбрунн».

Оказывается, что в поисках ночлега мы не заметили, как прошли мимо бывшего королевского дворца.

В 19.00 покупаем билеты. В театре не опера, а балет Делиба «Коппелия». Актеры и актрисы слегка покачиваются от голода. Но декорации, музыка, игра, мистика, Гофман, полный зал.

Американцы, англичане, французы с юными австриячками, но и наши офицеры тоже.

На следующий день пытаюсь попасть в картинную галерею, но она закрыта, попадаю в Зоологический музей напротив.

Вена все более и более потрясает меня. Оба музея в стиле барокко, а рядом — площадь «Ан дер вин» и пламенеющий стиль, невероятный собор Святого Стефана. А потом — черный рынок, где все продают все, где пожилые аристократы собирают валяющиеся под ногами чинарики безвкусных австрийских сигарет. И все.

Возвращение на попутных машинах в венгерский город Надьканижа. Недалеко и озеро Балатон.

В моем понятие это сплошь столы, / как до войны, положим, на Арбате. / Но, вероятно, врет мое понятие. / Здесь продается все из-под полы / и существует в виде априорном. / Недаром этот рынок назван черным. / Здесь познает превратностей науку / и социолог, и карманный вор. / Здесь академик разжимает руку, / в которой ржавый бритвенный прибор. / Здесь продают короны и жилеты / и короли, и нищие валеты. / Шутя, меняет этот черный клуб / конец войны на модные штиблеты / табак — на время / и любовь — на суп.

Штаб нашей 31-й армии располагался в австрийском городе Айзенштадте, а штаб моего 874-го дивизиона — в венгерском городе Надьканижа. Кажется, в сентябре 1945 года направил меня майор Крайнов в командиров-

ку в Айзенштадт для решения нескольких неотложных вопросов.

Добирался я на попутных машинах, стремительно проехал располагавшийся близ австро-венгерской границы, наполненный великолепными памятниками архитектуры Шопрон. Задержался в штабе до десяти часов вечера. Электричества в городе не было. Вышел из очередного кабинета на улицу и оказался в полной темноте.

Ночь была беззвездная.

На фоне голубо-черного неба просматривались только силуэты готических, крытых черепицей двух-трехэтажных коттеджей.

С трудом нашел нашу комендатуру.

Долго стучал, но никто не отзывался. Наконец дверь открыл полупьяный заспанный майор — комендант города.

Я, как мог, объяснил, что задержался в штабе, возвращаюсь в часть, надо как-то переночевать.

— Комендатура не гостиница, ничего для вас сделать не могу!

Повернулся на 180 градусов, вошел в комнату, запер за собой дверь. Я остался в холодном темном предбаннике. До крайности возмущенный, начал стучать в дверь. Майор появился с автоматом в руке, а я увидел через раскрытую настежь дверь стол, уставленный полупустыми бутылками, и на диване испуганную голую женщину.

Это было не очень весело.

Я вытащил из кобуры наган и, дабы предупредить преступный разворот дела и огорошить самодура и мерзавца, произнес, что немедленно доложу обо всем увиденном маршалу Коневу, по распоряжению которого я прибыл в штаб армии, и, не спуская пальца со спускового крючка, направился к телефону.

Что-то, видимо, дошло до майора.

— Что же ты не понимаешь шуток, — захрипел он, — так бы сразу и сказал, садись за стол, а я вызову толмача.

Я отодвинул от себя кружку со спиртом и стал ждать. Майор глухо матерился, его явно тянуло ко сну. Через

двадцать минут появился толмач-венгр. Я пошел вслед за ним. Стало еще темнее, он стучал в окна, мы проходили по разным улицам, он стучал, что-то начинал объяснять, но ни одна дверь перед нами не открывалась.

— Господин лейтенант, — горько сказал он, — почти всех владельцев домов комендант обложил данью: одни несут ему вино, другие деньги, третьи приводят женщин. В обмен он дал им обещание не тревожить их русскими постояльцами, дело безнадежное. — И он повел меня в свой собственный дом. Открыл дверь.

На грязном полу впритирку валялись застрявшие, как и я, в штабе армии прибывшие из разных частей лейтенанты, капитаны, майоры.

Толмач указал мне на угол пола и скрылся.

Мне было холодно, меня тошнило от голода и возмущения, но делать было нечего. Заснуть я так и не смог и с первыми лучами солнца вышел на улицу. Мне повезло — попутная машина довезла меня до Шопрона. Я все время думал о судьбе воина-победителя. Засыпая на ходу, нашел на главной площади городскую гостиницу. Дверь гостиницы открыла хозяйка и, улыбаясь, на ломаном русско-словацком языке объяснила мне, что гостиница пустая и все номера свободны, но что, если я хочу, она предоставит мне комнату на мансарде, в которой сто с лишним лет назад любил останавливаться и писать Амадей Теодор Гофман. Белоснежная постель, завтрак, Гофман, балет «Коппелия». Романтика воина-победителя и мысль о том, кто же победитель?

Из штаба фронта приходит распоряжение всем подразделениям научиться исполнять новый гимн Советского Союза, листок с текстом и нотными линейками.

Выстраивается каре: пятьсот человек дивизиона и две с половиной тысячи человек — расположенный рядом с нами близ венгерского города Надьканижа пехотный полк.

Командир полка, как старший по званию, с рупором и листовкой командует:

— Смир-но! Кто в состоянии разобрать по нотам гимн? Два шага вперед!

Но никто из строя не выходит. Проносится мысль — какие пустяки, — и я выхожу из строя.

— Ко мне! — командует полковник.

Подхожу, и он мне протягивает листовку с текстом и пятью нотными линейками.

В скрипичном ключе никаких аккордов.

— Ты, — спрашивает, — можешь выучить эту мелодию, этот наш новый гимн?

— Товарищ полковник! Могу, но мне нужно сначала сыграть его на пианино.

— Пианино у нас нет, но есть трофейная фисгармония, — и приказывает вынести на плац фисгармонию.

Работаю ногами, накачиваю меха, что-то вроде маленького органа.

Легко раз пять, последний раз уже наизусть, проигрываю эти нотные линейки.

— А теперь пой! — И протягивает мне рупор.

— Но, товарищ полковник, у меня же нет голоса!

— Ничего, — говорит, — голос не обязательно. Пой по одной строчке, когда солдаты и офицеры выучат первую строчку, приступай ко второй.

И вот я раз десять пою первую строчку, и три тысячи человек повторяют, поют ее вслед и вместе со мной, потом вторая, третья, потом еще раз играю на фисгармонии, голос срывается, час идет за часом, и вот уже что-то начинает получаться.

Картина эта много месяцев не выходит из моего сознания: я, фисгармония и три тысячи открытых ртов и хриплых голосов.

«...Опять Вена. Уже ничего не удивляет. Я не знаю языка, и это мешает узнать внутреннюю жизнь людей и домов. Воспринимается только пульс жизни — степень на-

пряжения и ожидания. Венцы лечат свой город. Разбирают разрушенные здания. Вдоль тротуаров растут штабеля кирпича. Из груды обломков извлекается ценное и нужное. Работают старики, мужчины, девочки. А в ресторанах — все то же кофе. На площадях старики, похожие на академиков, продают пряжки. В парикмахерских девушки-парикмахеры просят угостить их закурить, но сами не курят, а меняют сигареты на хлеб. Артисты торгуют страусовыми перьями».

Когда я снимал себе в Надьканиже комнату в квартире, хозяин пытался объяснить мне некоторые истины.

Он говорил, что стулья созданы для того, чтобы на них сидеть, что бить стульями о стены — это плохо, что в магазинах нет стекол и посуды и чтобы я старался как можно меньше бить у него посуды и старался не разбивать оконных стекол. Затем он начал качаться и изображать собой пьяного.

— Так не хорошо, — сказал он.

— Закуривайте! — обращаюсь я к соседке по купе.

Напротив солидная дама, ей очень хочется курить. Я предлагаю ей сигарету, но она стесняется. Она копается в своем ридикюле, находит и протягивает мне смятую ассигнацию — десять пенго.

— Не надо, — говорю я, — берите так, у нас это принято.

Один из бродячих музыкантов стал напротив моего места в поезде и на скрипке начал играть «Катюшу». Это было черт знает что. От диссонансов у меня мурашки забегали по спине. Я не выдержал и дал ему пять пенго. Мадьяр снял шляпу и поклонился мне.

— Спасибо, товарищ, — сказал он, самодовольно улыбаясь.

Глава 19

ОТПУСК 1946 ГОДА

3 мая 1946 года, находясь в командировке в австрийском городе Айзенштадте, в штабе армии узнал я, что все мои надежды на демобилизацию несбыточны.

Жуткая тоска охватила меня, захотелось увидеть родителей и друзей, отключиться от армейских причуд, которыми полны были дни и ночи офицера в оккупационной нашей армии, и я, вернувшись в свою часть, подал заявление об отпуске в Москву.

Уже полгода полковники и генералы с их ППЖ отпускали тоскующих офицеров в послевоенные отпуска. Советовали при этом на Родине познакомиться с молодой тоскующей девчонкой, оформить в ЗАГСе брак и вернуться в часть с женой.

Командировочные предписания (отпускные документы) выдавали на двоих. Для заполнения пунктов, где должны были быть номера паспортов, инициалы и фамилии будущих жен, оставлялись пустые места. И мне тоже выписали два командировочных предписания, одно мне — настоящее, а второе — вероятной будущей моей жене — с пустыми местами в графе — номер паспорта, фамилия, имя, отчество. В надежде, что, обзаведясь женой и народив детей, я уже навсегда останусь в армии.

4 мая я выехал из венгерского города Надьканижа, где был расквартирован мой дивизион, а 10 мая позвонил в свою дверь на Покровском бульваре.

Тут же начал звонить по довоенным телефонам, пытаясь найти довоенных друзей. Лену Зонину я нашел сразу, и сразу же она повезла меня к довоенному другу моему Виталию Рубину.

Виталий, худой, с заостренными чертами лица, лежал на постели, частично парализованный. Я волновал-

ся. Довоенная дружба с ним оставалась одним из самых светлых периодов моей жизни. Однако он совсем не обрадовался моему приходу. Держал себя корректно, но безразлично.

Спросил меня, как я воевал.

Война окончилась.

Я выжил и полон был оптимизма и веры в стремительный подъем страны, в то, что Сталин исправит ошибки прошлых лет, после победы устранил все несправедливости. Невинные люди вернутся из лагерей. Страна познакомилась с высоким уровнем жизни в Европе и неминуемо пойдет по их пути, а союз и нерушимая дружба с Америкой уже навсегда.

Я говорил, Лена Зонина улыбалась, а лицо Виталия ничего не выражало. Думаю, что внутренне ничего, кроме презрения ко мне, он не испытывал, и, сколько я потом ни звонил ему, он, ссылаясь на занятость, отказывался от встреч со мной...

Между тем я не мог равнодушно относиться к нему, бесстрашному, смелому, талантливому, стремительно входящему с новыми идеями в новую жизнь...

«Забывать или ожесточиться? Как это все могло случиться? Как боль сердечную унять от невозможности понять, что ничего не повторится? На тумбочке гора лекарств. Лицо воздушное, худое, и полон ненависти взгляд. А я любому слову рад, — вернулся в самое святое из всех возможных государств — в послевоенный край советский, в блаженный год сорок шестой. О, праздник русский, садик детский! Неповторим и сложен путь из мифа в лагерную жуть или в тупик салонно-светский, где, словно в храм, вошли в застой: поэт-мечтатель, век-мучитель, числитель — миг, военный китель и портупея под чертой. Тянулся разговор пустой, запас воспоминаний таял... Что делать? Жертва и герой, он свято ненавидел строй, в котором я души не чаял...»

Понять я его не мог, тем более что и мои друзья, недавно ушедшие из жизни: в будущем один из самых талантливых в мире медиевистов, профессор, доктор наук Юрий Бессмертный, и талантливый, окончивший в будущем Академию им. Жуковского, защитивший диссертацию, друг мой Лев Сиротенко, вернувшись с войны, думали так же, как и я. *«Война все спит»*. Все?

Спит?

Рассказ Лены Зониной (1946 г. За точность не ручаюсь)

В октябре 1941 года Виталий Рубин записался в московское ополчение. Под Ельней дивизия его попала в окружение и была уничтожена. Сам он, в результате тяжелой контузии, потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что в живых остался он один. Рядом в кустах обнаружил глубокую воронку от разорвавшейся авиационной бомбы. На поле среди множества тел убитых ополченцев обнаружил тяжело раненного генерала, командира дивизии.

Генерал открыл глаза. Виталий помог ему поползти до воронки, перевязал, как мог. Генерал пришел в себя и записал его домашний адрес. Немцы не нашли их, а через трое суток в результате контратаки на поле появились наши пехотинцы. Виталий вышел из укрытия. Генерала на самолете отправили в Москву, а его для выяснения, каким образом он остался жив, — в Смерш, а затем, ни в чем не разобравшись, в концентрационный лагерь под Тулу.

Там его позвоночник не выдержал тяжести многопудового мешка с углем. Между тем генерал, спасенный им, выйдя из госпиталя, занялся поисками своего спасителя. Нашел он его умирающим в лагерном госпитале и на своей машине привез домой. Виталий выжил, голова и руки были в порядке, но в результате тяжелой травмы позвоночника ноги были парализованы. За три года войны окончил он истфак МГУ и изучил несколь-

ко языков, в совершенстве — китайский. Защитил кандидатскую диссертацию.

Через несколько лет, после удачной операции, встал на ноги, женился. Занимаясь историей Китая, обнаружил, что в Средние века существовало там несколько тоталитарных государств, устройство которых удивительно напоминало и гитлеровскую, и сталинскую империи. Опубликовал по этому поводу несколько работ в специальных журналах Академии наук. Но то, к чему он пришел, плохо совмещалось с официальными концепциями, и он становится одним из основателей диссидентского движения.

Вся его жизнь заслуживает величайшего уважения.

К сожалению, в 70-х годах он погиб в автомобильной катастрофе.

Он был моим другом, я внимательно следил за каждым шагом его жизни и, безусловно, многим обязан ему.

Раз десять звонил я Юре Бессмертному по довоенному его телефону. Никто не отвечал.

Как-то перед сном я решил еще раз позвонить ему, и на этот раз удачно.

Я был свободен, занятия в институте еще не начались, а Юра после трех лет войны, ранения, преподавания в пехотном училище учился на заочном отделении истфака МГУ, а до или после занятий зарабатывал на жизнь то в качестве корреспондента газет, то в качестве грузчика.

В этот день у него не было никакой работы, и вот часов в двенадцать дня он приехал ко мне с вернувшимся с войны Левой Сиротенко. Он преподнес мне сюрприз, ведь в 1941 году, накануне ухода в армию, в Уфе, я слевой чуть ли не каждый день встречался в библиотеке, а потом мы гуляли по городу и подружились.

По очереди мы рассказывали, что произошло с нами за пять лет. Вспоминали, говорили, спорили и мечтали

о будущем, и внезапно спонтанно я произнес наивную фразу:

— А что, если нам стать настоящими друзьями?

Сначала стало смешно, потом возникла мысль, что жизнь давно уже сблизила нас, но нам казалось, что этого мало, и мы, как сто лет назад Герцен и Огарев на Воробьевых горах, произнесли что-то вроде клятвы в дружбе до смерти.

Юрий Львович Бессмертный клятву уже выполнил, на гражданскую панихиду в морг 23-й городской больницы приехало около двухсот докторов и кандидатов исторических наук, говорили о его вкладе во всемирную историографию, о новых методах исследований, которыми заинтересовались наиболее одаренные историки всех стран мира, о будущей международной конференции, посвященной его памяти.

В Америке, в Бостоне, ушел из жизни Лева Сиротенко.

Суета сует? Да нет. Четыре мальчика, пять девочек, четыре профессора. Работа над источниками, создание личных картотек, свободное мышление, нелицеприятная критика, нахождение путей от частных к общему. Что же это был за эксперимент? Царскосельский лицей? Аспирантура? Семьдесят лет назад, а потом всю жизнь — любой казус, любая проблематика, способность начать с нуля и дойти, перешагнув через самого себя, до единственно возможного? Чудо это было.

Тогда, до войны, Юра был чрезвычайно подвижным и дерзко шаловливым юношей, я же — стеснительным и внезапно увлекающимся. К работе докладчика и рецензента каждый из нас относился весьма ответственно.

Во время еженедельных занятий в запасниках и залах Музея изобразительных искусств я, увлеченный какой-то новой для меня идеей, приоткрывал рот и забывался, и именно в этот момент он подкрадывался ко мне

сзади, больно щипал меня и убегал. Меня это вводило в шоковое состояние и вызывало чувство раздражения. Догонять его, давать сдачи, тем самым привлекая к себе внимание, я не хотел. Мне стыдно было за себя и за него, а он веселился. Может быть, вид у меня был действительно идиотический. Через двадцать минут он как ни в чем не бывало подходил ко мне, объяснял, что не мог удержаться и что все это ерунда и шутка. А потом эта шутка повторялась. «Все впереди!» Спустя восемь лет стал он самым близким моим другом, самым дорогим человеком. Я любил его так же, как он меня, советовался с ним так же, как он со мной, в трудные минуты жизни. И неожиданный уход его из жизни — самая большая потеря моей жизни. Три раза повторил слово «жизни», долго думал и решил последнего абзаца не менять....

Однако опять ушел в другую сторону.

Забыл, как на следующий день на Тверском бульваре я встретился с поэтом Виктором Уриным, который был тогда Виктором Ураном, как он повел меня в общежитие Литературного института и познакомил со своими однокурсниками: Козловским, Наумом Гребневым, Эммой Мандель и другими, как потом мы поехали ко мне домой и как я прочитал ему несколько своих стихотворений и дневниковые записи 1945 года. Дневниковые записи понравились ему больше, чем стихи.

— Почему ты, — закричал он, — пишешь везде «мы», «нам», а не «я» — «я воевал», «я приказал» и т. п.? У тебя что, нет своей точки зрения?

Мне не очень по душе была эта его концепция самоуверенности, но я первый раз после войны говорил с фронтовым поэтом, а он начал знакомить меня с другими поэтами, к которым я относился с трепетом.

У него не было ни денег, ни папирос, а у меня оставалось несколько моих фронтовых окладов. Он не особенно церемонился, начал одалживать у меня, разумеется без отдачи, деньги.

Мы шли по пешеходному центру улицы Горького. Он громогласно, пытаясь привлечь к себе внимание прохожих, читал стихи. После каждого останавливался, вынимал из кармана сырое яйцо, задирает голову, как-то ловко разбивал его и, подняв высоко над головой, выливал содержимое в широко открытый рот. Вокруг образовывалась толпа удивленных прохожих, я испытывал чувство стеснительности, глубокого смущения и неудовлетворения.

Он предложил зайти в «Коктейль-Холл», оказалось, что это что-то вроде кафе поэтов. За двумя столиками молодые люди читали по очереди стихи. Потом оказалось, что ни у кого не было денег, я расплачивался за всех.

На следующий день утром зашел в Литературный институт, обратился с вопросом к директору Сидорину. Спрашивал, можно ли мне, находясь в Венгрии, в армии, поступить на заочное отделение.

— Приходите, когда демобилизуетесь,— сказал он мне.

О господи! Только теперь, на восемьдесят шестом году жизни, я понимаю (сообразил), что еще в сороковом году я мечтал о Литературном институте, что еще в январе 1944 года послал тому же директору Сидорину письмо с просьбой принять меня на заочное отделение, с приложением справки от командира моей части и спустя полмесяца получил ответ Сидорина.

— Приходите, когда демобилизуетесь,— сказал он мне.

Выходя из кабинета Сидорина, я увидел на другом конце коридора сидящего на подоконнике Эмму Мандела (в будущем поэта Наума Коржавина). Он читал свои новые стихи. Вокруг него стояло человек пятнадцать. Я присоединился и забыл обо всем. Он читал то, что я знал и о чем боялся думать, и по форме это было замечательно.

Рядом со мной стояла девочка. Я поделился с ней частью своего восторга. Она очень интересно формулиро-

вала свои мысли, спросила: пишу ли я стихи? Я пригласил ее к себе домой и прочитал «Собор», «Черный рынок», военные дневниковые записи, почему-то вдруг спросил, как она относится к музыке, удивился, что на концерты она не ходит, сказал ей, что довоенные концерты Софроницкого помогали мне в трудные минуты на войне. Это была Нина Белосинская. Через тридцать лет мой друг Александр Ревич посоветовал мне уже готовую, но ненапечатанную мою первую книгу стихов прочитать ей.

Я думал, что она давно забыла меня, но оказалось, что мои слова о музыке запомнились ей на всю жизнь. Она была уже известным и уважаемым поэтом. Она пригласила меня, прочитала стихи и трогательно благословила...

Валов набегающих звоны, / на палубе люди и волны, / и стоны: — Спасайся, кто может! / Раздельно! Никто не поможет! Нет связи! Один уже тонет / и в ужасе стоит: — Нечестно! / Когда бы совместно! И тонет.

В один из первых дней своего майского отпуска встретился я с другом детства Димой Бомасом. Рассказал ему о «тайном военном задании» — найти в Москве жену и прибыть с ней в Австрию. Дима воодушевился патриотической идеей, рассказал мне, что среди его друзей есть красивая девушка, которая мечтает обо всем заграничном, о модной одежде, модной парфюмерии обеспеченном существовании и счастливом замужестве.

— Завтра я устрою в честь твоего прибытия вечеринку, — сказал он, — познакомлю и посажу тебя рядом с ней, а ты расскажи ей, как хорошо живешь в Венгрии и Австрии, какая у тебя замечательная квартира, и про военторг, наполненный заграничными трофейными товарами, и про все европейское. Если не будешь дураком, успех гарантирую!

Понимая, что на самом деле все далеко не так просто, я все же согласился. А вдруг произойдет чудо, любовь с первого взгляда.

Приятельница Димы понравилась мне. Она с интересом смотрела на меня. Но я вдруг понял, что врать не имею права, что я должен говорить своей будущей жене только правду, и, если она, узнав неприглядную правду, вопреки ей влюбится в меня, то я на самом деле женюсь на ней и увезу ее в свою дерьмовую границу, где окажется, что с милой и в шалаше (на самом деле в лагерьной палатке) — рай.

И я прочитал ей свое стихотворение о хозяине моего венгерского дома в деревне Палин, близ города Надьканижа.

...И музыка, и вазы на замке / оценены по смете самой точной, / хозяйский нос в солдатском котелке, / хозяйский глаз у скважины замочной, / и пес хозяйский лает на меня, / и в мраморном камине нет огня, / а я спокоен: пусть вокруг темно, / пусть этот лай врывается в окно, / пусть собственник своей заткнется костью, / и холод пусть ко мне приходит в гости, / я не жалею, я спокоен — пусть / в меня войдет и эта злость, и грусть?..

Девушка удивилась, задала мне три-четыре вопроса. Я с увлечением отвечал. Внезапно она отвернулась, перешла на другой конец стола и перестала замечать меня. Я вспомнил слова Бомаса. Дурак! Я — дурак. Я вышел из комнаты, оделся, вышел на улицу.

Любви с первого взгляда не получилось.
Все впереди.

Через три дня Дима Бомас решил познакомить меня с оригинальным поэтом. Какими-то проходными дворами подошли мы к дому номер 22 на Арбате. Темный коридор. Пол комнаты завален дровами от пола до потол-

ка, в углу письменный стол, сплошь заваленный кипами бумаги, маленькими самодельными тетрадками, чернильницами. На столе, если не ошибаюсь, керосиновая лампа. За столом довольно странный парень, пристально вглядывается в полутемную пустоту, замечает нас, приглашает. Дима вытаскивает из портфеля и ставит на стол бутылку водки и знакомит нас.

— Коля Глазков.

— Леонид Рабичев.

— Леонид, — говорит он, — приехал из Венгрии, лейтенант, пишет стихи, очень хочет послушать тебя.

Коля перебирает рукописные тетрадки-книжки. Третья, седьмая, восьмая, двенадцатая. Начинает читать. Короткие, дерзкие, неожиданные четверостишия то удивляют, то пугают меня. Что-то совершенно не знакомое.

Я думаю.

— А ты не хочешь почитать Коле свои стихи? — спрашивает меня Дима.

— Я готов, а Коля точно хочет?

— Время есть, — говорит Коля и разливает по стаканам водку.

Я читаю. Это стихи 1944 года и последние — «Собор», «Черный рынок».

— Ну, что можно сказать, — говорит Коля. — Ну, лучше, чем Гудзенко, но до настоящей поэзии как до неба.

Лучше, чем Гудзенко?

Господи! Да чем же?

Значит, этот талантливый, независимого мышления человек признал во мне поэта?

Мы допиваем водку, прощаемся.

Пошутил или на самом деле думает так?

Почему не нравится ему Гудзенко?

На следующий день я с Виктором Уриным стою в длинной очереди в «Коктейль-Холл». У входа швейцар, табличка: «Мест нет». Стоим уже полчаса, час.

— Может, куда еще?

Внезапно к швейцару подходит черноволосый, худой, с накрахмаленным воротничком и роскошным галстуком, импозантный, нагловатый молодой человек.

Виктор Урин хватает его за рукав, представляет ему меня и говорит, что это (о нем) поэт Михаил Вершинин, и обо мне, что я — его товарищ, лейтенант.

Швейцар улыбается, снимает с дверей табличку и пропускает нас троих без очереди.

В переполненном зале у Миши Вершинина свой, навеки забронированный стол.

Подбегает официант и принимает заказ, а Миша вынимает из портфеля и протягивает мне только что отпечатанную в Югославии книжку своих стихов, — каждое посвящено одному из великих поэтов: Александру Блоку, Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Полю Верлену, Вильяму Шекспиру, Иосипу Броз Тито и многим, многим другим.

Спрашиваю:

— А при чем здесь Иосип Броз Тито?

А Миша рассказывает, как, находясь среди партизан, познакомился с будущим маршалом, как последний высоко оценил его бесстрашные репортажи и как наградил его и маршала Рыбалко самым престижным орденом молодой Югославии, только их двоих.

Когда я через полтора месяца вновь и окончательно прибыл в Москву, оказалось, что Миша — самый близкий друг Володи Пospelова, и Володя с восторгом рассказал мне, как ловко Миша Вершинин помог одному из его друзей поступить в институт.

Тот не набрал необходимого числа баллов, а Миша позвонил директору института, якобы по поручению председателя Совнаркома Молотова, якобы из приемной Молотова, и друга тут же приняли.

Мне не по себе. Мне неприятны и восторг Пospelова, и ложь Вершинина, и манерность Урина. С кем я дружу?

Это «с кем я дружу?» завертелось у меня в голове еще тогда, полтора месяца назад.

Встретил я тогда одного из самых близких своих доверенных друзей, блестяще за годы войны окончившего по классу Шостаковича консерваторию — Революя Бунина.

Попытался он ввести меня в круг своих коллег, молодых композиторов, и вдруг оказалось, что я никак не вписываюсь в их среду. Первый же мой рассказ о моей войне и мои романтические прогнозы относительно будущего СССР приводят к полному отчуждению.

Мой произвольный мат пугает их, а их полублатной сленг вызывает у меня чувство неприятного удивления. Неужели я не прав? Почему не вписываюсь я в их среду? Они же очень талантливы. Жуткое чувство неудовлетворения.

Мне хорошо со студентами, Юрой и Эрной, и невозможно плохо и трудно с молодыми, реализовавшимися уже поэтами и композиторами.

Как просто было на войне, как сложно оказалось на этой, о которой я пять лет мечтал, «гражданке».

Миша Вершинин

Приезжает в Москву Тито, и первый его вопрос на приеме в Кремле у Сталина:

— Почему нет поэта Вершинина?

И Мишу срочно, на правительственной машине доставляют в Кремль и усаживают рядом с двумя Иосифами.

Приезжает Мао Цзэдун, а Миша уже, как завсегдатай приемов, среди сталинской элиты, сидит за банкетным столом рядом с композитором Мурадели. А тот говорит:

— Если бы у меня были слова, я бы сейчас сочинил гимн в честь встречи великих Мао и Сталина.

И Миша на салфетке пишет необходимые слова, и на следующий день вся страна поет новый гимн — «Москва—Пекин».

И наконец, спустя четыре года, по проекту Алеши Штеймана возводится один из монументов на канале Волга—Москва, и один из политзаключенных, Миша, подходит к Алеше и просит передать привет мне.

Все.

Больше о Мише Вершинине я ничего не знаю...

Через двадцать дней кончался мой отпуск.

Глава 20

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Достаю билет на грузовой военный самолет «Дуглас». Вдоль стенок фюзеляжа скамейки, на них пассажиры — в основном возвращающиеся из командировок офицеры. Однако рядом со мной мой ровесник — Володя Поспелов. Говорит, что летит к своему отцу, главному терапевту 1-го Украинского фронта, в Баден. Я рассказываю ему о своем увлечении литературой. Оказывается, он тоже пишет стихи. Посадка в Минске. За три часа мы так сближаемся, что Володя приглашает меня оставшиеся три дня отпуска провести вместе с ним в гостях у его родителей. Над Карпатами самолет поднимается на высоту около шести километров. Самолет не загерметизирован. У меня, как и у всех, закладывает уши. Давление, звон, воздушные ямы. Сверхнапряжение. Разговаривать невозможно...

Наконец посадка в Бадене. Володя знакомит меня с родителями. У меня двухкомнатный номер люкс. Еда, о которой до войны что-то я читал в романах XIX века и о которой никогда не мечтал, просто не знал, что такое бывает — низко кланяющиеся официанты.

Выхожу из отеля.

Парк — двадцать километров экзотических деревьев, пещеры, маленькие замки, гроты со скамеечками для влюбленных, одинокие парочки и цветы. Цветы, о которых тоже я не имел представления, фантастические и

невероятные. И множество поющих птиц, бесконечные соловьиные трели, кукушки. Пытаюсь сосчитать, сколько лет мне осталось жить. Возвращаюсь в отель. Вина, воды, салаты и бесконечный звон в ушах. На третий день прощаюсь с гостеприимными Поспеловыми. Договариваюсь о встрече с Володей в Москве.

Все впереди.

4 мая 1946 года

«Дорогие мои! Только сегодня получил возможность отправить вам письмо... Позавчера прибыл в свою часть. Она оказалась расформированной. Все соседние подразделения убыли в Россию. Нас, возможно, ожидает такая же судьба.

Так или иначе, но обещаю вам в конце июня месяца возвратиться в Москву окончательно. Адреса у меня никакого нет, почтовое отделение (ближайшее) находится за 100 километров. Привет всем, целую, Леня».

Июнь 1946 года

Получаю демобилизационные документы. У меня два чемодана, набитые трофеями.

Целый год Военторг распределял с реквизированных немецких складов то часы, то отрезы шелковых тканей, то дамские комбинации, то скатерти, даже вспомнить не могу, чего там только не было, потом — две смены белья, шерстяные гимнастерки, галифе, китель, шинель, плащ-палатка, книги. На попутных машинах добираюсь через венгерский городок Шопрон, австрийский городок Айзенштадт до Вены. Время есть, есть знакомый адрес.

С двумя чемоданами, уже не вдвоем, а один добираться я до знакомого своего славянского домика. Хозяйка с радостью отворяет мне калитку, но в комнате на диване сидит полупьяный старшина. На столе бутылка водки.

Знакомимся, пьем за победу, за возвращение на родину. Я смертельно устал, ложусь на кровать и засыпаю. Старшина будит меня, говорит, что тоже уезжает завт-

ра из Вены домой в Брянск, что, пока я спал, хозяйка уходила из дома куда-то, а он поднялся на второй этаж и обнаружил в бюро столовое серебро, золотые серьги и кольца, золотой портсигар.

— Лейтенант, — говорит он. — У меня наган, я не сдал его. Давай с тобой ночью уьем эту б... бабу и ее мужа, все вещи разделим, может, еще что найдем. А завтра утром — на поезд до Будапешта, никто нас никогда не найдет, дело абсолютно чистое!

Понимаю, что убить человека для него дело плевое, надо выходить из трудного положения.

Раскрываю чемодан, вытаскиваю четыре бутылки венгерской «палинки» (предполагал угостить москвичей). Это виноградная водка крепостью больше пятидесяти градусов. Предлагаю сначала выпить, наливаю ему полную кружку, себе — граммов сто, пьем за удачу. Наливаю ему вторую кружку, себе для виду, пьем за победу, наливаю ему третью и четвертую кружки.

Минут через двадцать он пьянеет окончательно, пытается лечь на диван и сползает под стол. Десять часов вечера. Приходят хозяйка с мужем, поднимаются наверх, а я сижу на стуле и понимаю, что спать мне не придется, преступление надо предотвратить.

Так сижу до семи утра, старшина — потенциальный вор и бандит — спит под столом. В семь часов утра с трудом бужу его, говорю, что можем опоздать на поезд, что сам только что проснулся. Мне удастся уговорить его, не убивая стариков, ехать на вокзал — слишком мало осталось времени. Берем чемоданы и вещмешки, спускаемся в метро.

— Мудак ты, лейтенант, — говорит он мне, — я думал, что ты мужик, а ты — х... е!..

На вокзале толчая, и я прилагаю все усилия, чтобы оторваться от него, нахожу скоростной состав, не то «Торнадо», не то «Рапида».

Все стекла выбиты. Забираюсь на крышу вагона, тяжелые мои чемоданы помогает поднять на крышу незнакомый капитан. У него тоже много вещей, и до самых Ясс мы помогаем друг другу.

Еду на крыше. «Рапида» еле ползет. Часа через полтора останавливается. На крышах вагонов волнуются несколько сот солдат и офицеров, возвращающихся на Родину. В чем дело? Оказывается, машинист пошел к сестре пообедать. Километров через пятьдесят машинист останавливает состав снова, на этот раз — друг, давно не виделись. Стоим часа два. Крыша вагона раскалена, жарко, я засыпаю.

— Лейтенант, просыпайся! В Бухарест приехали.

Опять идет драка за места на крышах вагонов. Это не среди русских, не среди солдат и офицеров, это румынские крестьяне в белых штанах и белых рубашках. Мне кажется, что все они в нижнем белье, в кальсонах. Все это не смешно, а страшно. Голод гонит куда-то тысячи людей. Мы же твердо занимаем свои позиции. На ходу не жарко, а пока вагоны стоят, обливаемся потом, но все это чепуха, едем домой!

На платформе сотни людей меняют деньги на деньги, продают бутылки румынских вин. В Бухаресте в ходу обесцененные леи. Продавцы ими не интересуются, а интересуются новыми польскими злотыми и старыми немецкими марками, то есть марками Третьего рейха.

Жалею, что давно выбросил их.

Половину своего оклада я по аттестату с 1942 года переводил родителям, другую половину — автоматически на сберкнижку. Но, когда мы три месяца стояли в обороне в Сувалках, только что отпечатанные злотые нам выдавали на руки, и они у меня сохранились. Я вез их в Россию как сувениры, а тут вдруг вино, а ведь я все свои бутылки использовал в Вене на предотвращение преступления.

Я покупаю пять очень красивых бутылок.

Это ром, ликеры.

Таких в Москве не видели. Будем пить за окончание войны, за погибшего под Сталинградом брата. Поезд трогается, еще несколько часов — и мы на русско-румынской границе в Яссах. Помогая друг другу, покидаем крыши вагонов.

В Яссах формируются отдельно солдатские, отдельно офицерские составы для возвращающихся на Родину воинов-победителей. Узнаю, что наш поезд проедет через Киев, а в Киеве у меня родная тетя Вера с мужем, двоюродным братом Мишей и двоюродной сестрой Раей.

Старший их брат, Юра, которого я любил, которого до войны водил по всем московским музеям и посвящал во все секреты моей жизни, трагически погиб в конце войны. Будучи в разведке, попал он в руки карательного отряда СС, его фашисты мучили, вырезали на лбу пятиконечную звезду и убили, а наши отбили, но опоздали на полчаса.

По дороге в Москву я решил на несколько дней остановиться в Киеве.

Пока, уже на территории СССР, формировался наш новый железнодорожный состав, я сбегал на почту и дал тете Вере телеграмму. Приехали мы в Киев утром, но только к вечеру добрался я до ее квартиры на Крещатике.

Дело в том, что в Яссах, спрыгивая с крыши вагона, помогая соседям спускать вещи и принимая свои чемоданы, я, не знаю каким образом, потерял одну звездочку с правого моего лейтенантского погона, а на звездочки в армии тогда был жуткий дефицит.

У многих офицеров уже давно не было заводских штампованных звездочек, вырезали из использованных консервных банок и пришивали нитками.

Утром я уже почти добрался до дома, уже шел по Крещатику, но был июль, жара, а у меня два чемодана и вещмешок.

Я вспотел, расстегнул воротник гимнастерки, а прежде бывший белоснежным подворотничок за десять дней жары, пыли и пота превратился в черный почти.

И вот издержки войны.

Навстречу мне шел, возглавляемый майором, патруль городской комендатуры, целью которого было вылавливать возвращающихся из оккупированных Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, не по уставу застегнутых или не отдающих друг другу чести офицеров и солдат.

В руках у меня были чемоданы, и я не отдал чести, воротник был расстегнут, фуражка сдвинута на затылок. И хотя все документы у меня были в полном порядке, а на груди было два боевых ордена, меня, как и несколько сотен моих попутчиков, арестовали, заставили снять ремень и портупею, протопать с чемоданами в комендатуру и восемь часов подметать улицы Киева.

Таким образом, героизм и патриотизм превосходно сочетался с ханжеством и демагогией.

Но все это отступило назад, когда я переступил порог квартиры дорогих мне людей, которых я не видел четыре с половиной года.

Мы сидим за праздничным столом с невероятным количеством вкусной еды, пьем вино, я рассказываю.

Справа от меня сидит пожилой незнакомый мне человек, друг моей тети.

Неожиданно он задает мне вопрос:

— Куда вы собираетесь поступить учиться?

Я, не раздумывая ни секунды, отвечаю:

— В Литературный институт. Два года назад в журнале «Смена» № 4 за 1944 год напечатано у меня было три стихотворения, какие-то начатые, но не законченные стихи у меня в чемодане.

А он говорит:

— А не хотите ли вы перевести на русский язык два или три моих стихотворения?

Я изумлен и польщен. Совершенно не понимаю, кто передо мной, отвечаю, что никогда не пробовал и ни одного языка, кроме русского, не знаю.

А он говорит, что сейчас напишет и стихи, и русский подстрочник к ним, и не хочу ли я попробовать перевести?

— Хочу, очень хочу, — говорю я, — а сам спрашиваю шепотом у тети Веры: — Кто это?

— Леня, — говорит она, — это очень известный еврейский поэт, член антифашистского комитета, стихи которого переведены чуть ли не на двадцать языков, — Давид Гофштейн.

Он вынимает блокнот.

Два стихотворения на еврейском языке.

Ни одного слова еврейского я не знаю, но в руках подстрочники плюс состояние счастья, выполненного долга и еще это советское: «Кто хочет, тот добьется!» Так просто открывающийся путь в литературу.

Я сажусь за письменный стол и до утра подстрочники эти превращаю в стихи, днем работаю над вариантами. Вечером приходит Давид Гофштейн, читает и — неожиданный восторг. Говорит, что никто еще так глубоко, так адекватно не переводил его, что сбывается его мечта.

Я обалдеваю от счастья, а он пишет два письма: одно — в издательство «Советский писатель», а другое — главному редактору отдела дружбы народов издательства «Художественная литература» с просьбой передать рукописи двух его книг, включенных в план и находящихся в соответствующих редакциях для перевода мне. Мне одному.

Через месяц я в Москве, поступаю на художественное отделение Полиграфического института, отношу в издательства письма Давида Гофштейна, получаю его рукописи и подстрочники и начинаю переводить.

По ходу работы возникают вопросы, обмениваюсь письмами, по почте высылаю ему найденную мной в полуразрушенном немецком замке на берегу Рейна гравю-

ру XVII века — карту Иерусалима с несколькими сценами из Ветхого Завета.

Идет время.

В конце 1947 года в литературной студии МГУ я читаю два последних перевода Владимиру Луговскому.

В 1948—1949 годах Давида Гофштейна вместе со всеми членами Еврейского антифашистского комитета арестовывают и приговаривают к расстрелу...

Папа в совершенном ужасе.

Наверняка в руки гэбистов попала моя с ним переписка, да еще карта Иерусалима.

Никто из издательств мне не звонит. Все начатые переводы я уничтожаю, из литературной студии при филфаке МГУ меня, ввиду того что я не являюсь студентом МГУ, исключают. Зато у меня успехи в институте, все более и более увлекаюсь я композиционным рисованием с натуры.

Стихов больше практически не пишу. К живописи и поэзии вернусь через тридцать лет.

Почему? Не знаю. Потребность выражать себя в стихах была у меня в шестнадцать лет, в двадцать три года и вновь и уже навсегда возникла после шестидесяти лет.

Трясущиеся губы, сердце бьется. / Заноют зубы. Что такое страх? / Мне выразить его не удастся. / Какой-то неожиданный размах? / Бежит сержант Баранов, бомба рвется, / и нет его. На дереве — карман. / Я говорю: «Лежи!» А он был пьян. / А я уставы нарушать боялся. / Боялся женщин. Страх меня терзал. / Сержант был пьян, а я не рассказал. / Боялся «Юнкерсов» пикирующих, мин. / Начальник от приказа отказался. / Любимая! Прости меня, прости! / Не мог, не мог, не мог я подвести / любого из доверившихся мне / с походкой неуклюжей, с грубым слогом. / Я понимал, что это ложь вдвойне, / и это чувство долга перед Богом, / и страх меня терзал, и я терзался. / Медаль. Потом начальник на коне / меня позвал, и я не отказался. / Не то коньяк, не то одеколон.

ЭПИЛОГ

2009 год

Написал о том, что помнил, что видел своими глазами шестьдесят лет назад на войне, осудил факты нечистоплотности, безнравственные поступки, нечеловеческие ситуации, все то, в чем и я был невольным, а то и сознательным участником.

Прочитал написанное и преисполнился недоумения.

Налицо парадокс.

Мои связисты?

Я сам?

В 1943 году под Минском, безусловно, сочувствовал им, и во имя высшего — победы над фашистской Германией и построением коммунистического общества — закрывал глаза на повседневное игнорирование самой сущности этических представлений.

В 1943 году помыслы мои были чисты и дорога в будущее светла. В 2009 году и на прошлую наивность, и на будущее смотрю с испугом, и сердце мое обливается кровью. Видимо, тогда головы наши были не тем заняты. Как отвечали на Нюрнбергском процессе деятели Третьего рейха — выполняли боевые задачи, приказы вышестоящих начальников. Но перед глазами Афганистан, Чечня, Хрущев, Горбачев, Ельцин, Ющенко, Политковская, Украина, Осетия, Абхазия, Грузия, любимые друзья, любимая женщина...

В Любавичах, меж блиндажей и могил / случайно, счастливо, беспечно / я встретил ее и две ночи любил, / и думал, что это навечно. / Тогда словно голову я потерял. / Друзья надо мною смеялись, / и падали мины, и месяц сиял, / а мы все расстаться боялись. / Ни женщины этой, ни этих друзей, / лишь память одна фронтовая. / Доказывать правду какую-то ей? / Но кто я? И разве я знаю?

Я был выхлестнут тишиной, / шел по пятам за мной / мой дом, казавшийся мне тюрьмой — / семьдесят лет в длину. / Мне ничего не сказал он, / но, как сказал Честерстон: / «Человек стреляет в луну, / чтобы вернуться домой». / Я бы тоже стрелял туда, / но, как всегда, мне / «Нет!» — ответил мой пистолет, / оставшийся на войне.

А потом была холодная война, XX съезд партии, хрущевская целина, хрущевская оттепель, брежневский застой, горбачевская перестройка, ельцинский Белый дом, чубайсовская приватизация и в итоге на фоне возникающей свободы печати и уникального расцвета всех форм нового искусства — бесконечная война в Чечне, расцвет криминального капитализма и международного терроризма. А я уже не солдат, не офицер, а художник и поэт, а за плечами восемьдесят шесть лет жизни и все то же довоенное и послевоенное убеждение, что все впереди. Это то, что я понял в 40-х годах, и то, о чем говорил в 90-х, и то, что чувствовал, оформляя как художник последние свои книги: Екклесиаст, Книгу Иова, Книгу пророков.

Все впереди!

Мост над пропастью или подкоп, / свет погас, и не топят в квартире, / рассуждаю о Боге и мире. / На рисунке ковчег и потоп, / на столе сельдерей и укроп, / молоко и картошка в мундире. / Мысли словно пудовые гири. / Надо вырыть за домом окоп.

Март 1945 года — март 2009 года

Весна сорок пятого, март, двадцать три, / осколки и дым. — Говори, говори! / Пилотка, значок, фотография, карта, / немецкие фольварки и города. / (Мы даже с тобой не простились тогда.) / Шинель, гимнастерка и мысли некстати / о школьнице Кате, о девушке Кате, / как мы в блиндаже целовались, шутя. / Горящая улица, школьная парта... / Мне страшно сидеть двадцать третьего марта / над картой семь лет и полвека спустя.

И еще:

Здесь у каждого жизни разлом, / то обиды синдром, то ранение. / Этот нервный мужик под Орлом / потерял то ли слух, то ли зрение, / и с двумя костылями жена, / косы вылезли, платье кургузое, / но ругается матом она, / как когда-то в окопе под Рузюю. / Может быть, этот дурень седой, / эта баба в ее безобразии, / этот стол с профсоюзной едой / фантастичнее всякой фантазии.

И еще:

О, как мне этот вид знаком: / магистратура с комендантом, / заигрыванье с белым бантом, / и треск стекла под каблуком, / и то взεροшенный, то сбитый / на металлическом шесте / петух — кричащий символ нации, / и тряпка — знак капитуляции. / На высоте Святая Анна. / На кухне человек убитый. / На площади рояль концертный...

И наконец:

*Писать без оглядки — какое блаженство!
Без страха, по чувству избранства, по праву
Охоты и лени, по-детски, по-женски,
И просто по нраву, и вовсе без правил,*

*Невнятно — опасно, понятно — случайно,
Беспечно — навечно, годами и наспех,
И на смех, и насмерть! Не бойтесь ошибок,
Завидное счастье писать без оглядки.*

Февраль 2003 года — декабрь 2008 года

О ХУДОЖНИКЕ И ПИСАТЕЛЕ ЛЕОНИДЕ РАБИЧЕВЕ

Родился в Москве в 1923 году. Стихи начинает писать в пятнадцать лет. В 1940 году получает аттестат об окончании десятого класса и поступает в Московский юридический институт. Литературной студией там руководит Осип Максимович Брик. Осип Максимович приглашает его на литературные читки в свою квартиру в Спасопесковском переулке, знакомит с Лилей Юрьевной, Катаняном, Семеном Кирсановым, Борисом Слуцким. Кроме учившегося на четвертом курсе Бориса Слуцкого занятия студии посещает будущий писатель Дудинцев.

В ноябре 1942 года по окончании военного училища лейтенантом, командиром взвода участвует в освобождении Сычевки, Вязьмы, Ржева, Ярцева, Смоленска, Борисова, Орши, Минска, Лиды, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, потом в составе 1-го Украинского фронта — в Силезии и Чехословакии. Награжден тремя боевыми орденами и медалями.

После войны, в 1946—1947 годах, был членом литературного объединения Московского университета, руководимого замечательным поэтом Михаилом Зенкевичем, выступал со своими стихами на литературном вечере в Союзе писателей под председательством Твардовского, в коммунистической аудитории МГУ на вечере под председательством Антокольского.

В 1951 году окончил художественное отделение Московского полиграфического института. Работал художником в области прикладной, книжной графики и прикладного искусства в мастерской промграфики КГИ МОХФ РСФСР, в издательствах «Росгизместпром», «Художественная литература», «Искусство», «Медицина», «Наука», «Присцельс», «Авваллон» и многих других.

С 1959 года посещал студию повышения квалификации при горкоме графиков Москвы, руководил которой художник, кандидат наук Элий Михайлович Белютин. С 1960 года член Союза художников СССР. График, живописец, дизайнер. Персональные выставки: 1958, 1964, 1977, 1989, 1991, 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы. Участвовал в московских, всероссийских, а также в международных выставках в Берлине, Париже, Монреале, Кембридже, Варшаве, Испании. Живописные и графические работы хранятся в музеях и частных коллекциях России и многих стран мира.

С 1993 года член Союза писателей Москвы, поэт, эссеист, прозаик. Автор шестнадцати книг стихов, шести прозаических публикаций. Несколько поэтических и прозаических публикаций переведены на иностранные языки.

Опубликовано шестнадцать книг стихов и прозы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
<i>Глава 1.</i> Москва—Быково. Начало войны	7
<i>Глава 2.</i> Эвакуация	14
<i>Глава 3.</i> Военно-учебные мытарства	30
<i>Глава 4.</i> Центральный фронт	54
<i>Глава 5.</i> Наступление в гряды	82
<i>Глава 6.</i> Московские каникулы	96
<i>Глава 7.</i> Женщины на фронте	104
<i>Глава 8.</i> Переправа через Березину	112
<i>Глава 9.</i> Снова в Москве	122
<i>Глава 10.</i> Прорыв обороны под Оршей	132
<i>Глава 11.</i> Восточная Пруссия. «Марш» победителей	141
<i>Глава 12.</i> «Марш» победителей (продолжение)	158
<i>Глава 13.</i> Последние дни войны	166
<i>Глава 14.</i> Судьба моего брата	178
<i>Глава 15.</i> Переправа через Неман	185
<i>Глава 16.</i> Самое страшное	190
<i>Глава 17.</i> «Война все спишет!»	205
<i>Глава 18.</i> В освобожденной Европе	215
<i>Глава 19.</i> Отпуск 1946 года	228
<i>Глава 20.</i> Демобилизация	240
Эпилог	248
О художнике и писателе Леониде Рабичеве	252

Рабичев Леонид Николаевич

ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ

**Воспоминания офицера-связиста 31-й армии
1941—1945**

Издается в авторской редакции

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректоры *Т.В. Соловьева, А.В. Максименко*

Подписано в печать 17.08.2010.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44.
Уч.-изд. л. 10,89 + вклейка = 11,76.
Тираж 3 000 экз. Заказ О-1243.

ЗАО «Издательство Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс». 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2. E-mail: idelpress@mail.ru

Фирменные магазины «Издательства Центрполиграф» в Москве и Ростове-на-Дону

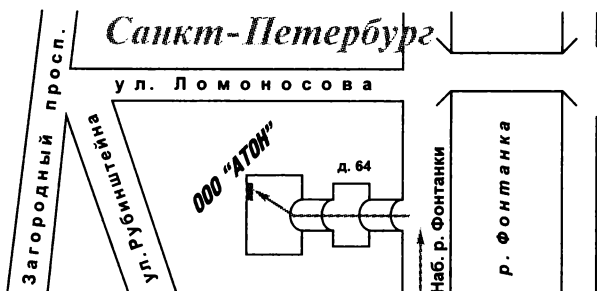


Москва — ул. Октябрьская, д. 18, тел. для справок: (495) 684-49-89, мелкооптовый отдел — тел. (495) 684-49-68; пн—пт — 10.00—19.00, сб — 10.00—17.00, курьерская доставка книг по Москве.

Ростов-на-Дону — Привокзальная пл., д. 1/2 (мелкооптовый отдел), тел.: (8632) 38-38-02; пн—пт — 9.00—18.00.



Официальный дистрибьютор издательства ООО «АТОН». Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 64, пом. 7-н, тел. для справок: (812) 575-52-80, (812) 575-52-81. Пн—пт — 9.00—18.30; сб, вскр — выходной. E-mail: aton@peterlink.ru



НА ЛИНИИ ФРОНТА

ПРАВДА О ВОЙНЕ

Леонид Рабичев

ВОЙНА ВСЁ СПИШЕТ

**ВОСПОМИНАНИЯ
ОФИЦЕРА-СВЯЗИСТА 31-Й АРМИИ**

1941—1945

Леонид Николаевич Рабичев — известный художник, прозаик, поэт, во время войны служил офицером-связистом в составе 31-й армии, действовавшей на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах.

Воспоминания, письма Л.Н. Рабичева воссоздают эпизоды из жизни фронта и тыла, армейского быта давно прошедшего времени. Какую подготовку проходили офицерские кадры Красной армии, как они жили, любили, о чем мечтали, во что одевались и чем питались. Любая мелочь той эпохи становится необходимым звеном для понимания огромной цены, которой была оплачена наша победа. Юный лейтенант видел и сожженную, поруганную оккупантами Родину, и покоренную Германию. Он пропускал страдания людей сквозь свое горячее сердце. Это мужественная, горькая и местами шокирующая книга человека, прошедшего через самые страшные испытания, но не потерявшего способности верить, любить и созидать.

ISBN 978-5-227-02355-1



ЦЕНТРОЛИГРАФ®